



В. Бочарников

В ЛЕСНОЙ
ДЕРЕВЕНЬКЕ

В. Бочарников

В ЛЕСНОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ

РАССКАЗЫ



ЯРОСЛАВЛЬ
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1989

Художник
А.-Ю. А. КУЗЬМИН

Бочарников В. А.

Б86 В лесной деревеньке: Рассказы/Худ. А.-Ю. А. Кузьмин. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. — 96 с.

20 к. 150 000 экз.

Сборник детских рассказов костромского писателя Василия Бочарникова.

Маленького читателя ожидают занимательные встречи с умным лисенком Одуванчиком, смелым зайчишкой Шелковые Уши и другими зверями, он познакомится также со своими сверстниками — трудолюбивыми и умелыми ребятами из деревни Лотково.

Б 4803010201—45
М139—(03)—89 46—89

P2

© Верхне-Волжское книжное издательство, 1989,
состав, оформление.

ISBN 5-7415-0023-4

*Птице — небо, рыбе — море, а
человеку — Родина.*

П о с л о в и ц а

От автора

Мне часто доводится выступать перед ребятами — и в школах, и в пионерских лагерях. И почти всегда при таких встречах задают один и тот же вопрос: «Расскажите, как вы пишете?» Обычно отвечаю так: беру чистый лист, школьную авторучку (она всегда безотказна), сажусь за стол, если дома; на пенек, если в лесу; на ржаную копну, если в поле, и — пишу.

Это разочаровывает ребят. Так просто?! И сыплются новые вопросы: хочется, видно, им вызнать какие-то «особые писательские тайны».

И тогда приходится им объяснять, что писатель должен сам что-то открыть, найти, скажем, в природе, подсмотреть, удивиться, полюбить, пропустить открытое, увиденное через свое сердце и уметь передать его словами.

Я никогда не пишу о том, чего не видел, чему не был участником или свидетелем.

Я глубоко убежден в том, что ребята и сами являются открывателями всего и в природе и в жизни. Это очень важно. Открывают удивительный мир знаний, постигают красоту родного края, учатся дружить и верить в дружбу. И тогда их жизнь становится интересной и увлекательной.

Открывайте! Удивляйтесь!

Василий Боcharников.
Костромская область, д. Нелидово.



ВЕТЕРОК С ПОЛЯ

РОМАШКА

Лесник, ежели он усердно и долго служит своему делу, слывет в деревне за ученого человека: деревья понимает, зверье понимает, разные случаи в природе объяснить может.

Такой у нас в деревне дядя Ипат. Живет он со старухой да внуком Виталькой. Витальку по слабости здоровья родители отправили из Москвы сюда «дышать лесом», да так он с пятилетнего возраста и живет у деда с бабкой. Теперь уже в четвертый класс ходит Виталька.

Нынешней весной дядя Ипат, обходя Звонцовский бор с болотинками-мошниками, вернулся с добычей—журавлем. Вся деревня знала лесников рассказ, и повторялся он по всей округе.

— Иду. Слышу крик, такой резкий, что сразу в сердце проник. Кого беда постигла?.. Ружье с плеча — и

рысью... Вижу, мельтешит что-то красное. А это лиса лопает журавку. Все норовит за шейку цапнуть. И как бы цапнула, так и каюк. А только журавка не дается, дергается, подскакивает, кричит. И кричит так, словно бы просит все живое: «Помогите!» Бацнул тут я из ружья вверх, рыжая чертовка отпрянула от птицы — и в осинник. А журавль стоит зацепенело и ждет. Подхожу, вижу — плохо дело: крыло помято, нога искусана... Перевязал я его тряпицей и понес...

Вот так в нашей деревне появился журавль — в лесничьем дворе. Два первых дня ничего не ел, только тоскливо вертел головой да стонал по ночам.

Виталька назвал журавля Ромашкой. Ромашка по наказу деда свободно ходил по двору, а на ночь его вместе с курами загоняли на подворье.

Журавль сперва привык к ребятишкам, а от ребятишек доверие у него перешло и на взрослых; он охотно принимал лакомые подачки, быстро бегал.

Однажды все в деревне ушли косить луг. И дядя Ипат наравне с молодыми валил своей литовкой густотравье. Рубашка взмокла. Вдруг слышит:

«Кыр-лы-ы... Кыр-лы-ы...»

Оглянулся, а по его покосу идет, кланяется Ромашка.

— Гляди-ка, дядя Ипат, тебе поклоны! — сказали соседи.

И пока отдыхали, глядели на журавля. Он же словно догадался, что о нем говорят, разбежался и храбро взмахнул крыльями. И оттолкнулся. И взлетел было, но тут у него получился разнбой: одно крыло успевало делать два маха, другое, покалеченное, отставало на целый мах. И журавль упал. Жалкий, лежал он на боку с поджатыми жердочками ног, с раскрытым клювом. Дядя Ипат кинулся к нему, поднял, приговаривая:

— Ничего, Ромашка... Молодец, Ромашка! Проверил крыло. Полетишь... Полетишь!.. Виталька, ну-ка подай ему водицы испить! Ишь как зашлась птица. Горюет, а того не понимает, что к жизни вернулся...

После случая на лугу Ромашка долго не пробовал летать.

Однажды рано-рано дядя Ипат собрался на рыбалку. Вскинул пук удочек на плечо да и скажи:

— Айда, Ромашка, рыбачить!

Пошел журавль. Пришли на речку Покшу. Раздвинул лесник осоку, стал прилаживать упоры для удочек. Ромашка оглядывался, оглядывался, потом завертелся и вдруг горласто, радостно крикнул. И тут же из болота за речной излучкой — ответный журавлиный крик.

«Что дальше будет?» — подумал дядя Ипат и снял картуз от волнения. И не выдержал, зашептал:

— Ну, Ромашка, ну, дурачок, крой же... крой к своим... Слышь? Зовут.

Радостью сверкнул глаз журавля. Журавль вскрикнул и полетел. Чуть отставало левое, мягкое крыло, но Ромашка держался. Дядя Ипат проводил взглядом птицу и долго-долго курил, не замечая рыбачьих всплесков...

С реки он шел не спеша, на плече нес удочки, в руке улов. Старик думал о том, как расскажет внуку Витальке и старухе о расставании с журавлем: как он кричал, как он летел, как радовался.

Когда укладывал удочки на слуги, из избы вышла старуха.

— А я, бабка, Ромашку нашего проводил. Да-да, — сказал лесник глуховато.

— Полно врать-то! Оглянись! — Бабка щурилась на солнце.

Лесник оглянулся. К нему по низкой плотной зеленой траве шагал Ромашка.

— Здравствуйте! — развел руками дядя Ипат.

Теперь Ромашка то улетал, то прилетал. И все догадались: к отлету готовится большому. Не иначе.

Пришла осень. Откуда-то на поля, на дороги, на поляны хлынула паутина. Рвалась, цеплялась за ветки деревьев. А росы выпадали холоднущие.

И не только дядя Ипат, его внук Виталька и бабка —

вся деревня ждала разлуки с Ромашкой: тронутся журавли, и...

Улетел Ромашка к вечеру. С неделю его не было. Все решили, что он улетел совсем.

В солнечный денек журавлиный клин показался над деревней. Стая тянула в сторону елового леса — на юг.

Дядя Ипат вогнал топор в бревно:

— Гляди-ка, Виталька, тронулись журавли. Тронулись! Может, и Ромашка в ихней компании.

И только сказал это дядя Ипат, вдруг оборвалось самое крайнее колечко журавлиной цепочки. Птица пошла вниз кругами, а вся стая, как стрела, была все так же нацелена на юг.

Это был Ромашка. Он опустился во двор лесника и, тяжело дыша, нервно трепыхая помятым крылом, крикнул:

«Кыр-лы... Кыр-лы...»

Деревня терялась в догадке: почему не полетел Ромашка? И жалела его.

— Выходит, не понадеялся на свои силы, — так объяснил возвращение журавля дядя Ипат. И еще он сказал: — А уж следующая весна — его. Точно знаю.

ШЕЛКОВЫЕ УШИ

Заяц знал эту бабку — она из соседней деревни. Бабка с кузовком в руках шагала по затвердевшей от солнца дороге. «Землянику на березовых порубках собирала», — догадался заяц и, не остерегаясь, выметнулся из овсяного поля.

Ахнула бабка:

— Окаянный, насмерть перепугал!

Заяц остановился, поглядел на бабку, ловким прыжком перекинулся через дорогу и скрылся в овсах, таких же желто-серых, как сам.

— Ну, ловкач! — подивилась бабка.

В ее голосе заяц не уловил ни угрозы, ни осуждения.

Бабка ушла. Прислушиваясь к ее шаркающим шагам, заяц удобно примостился на новом месте. Если бы он знал, что случится спустя час после встречи с бабкой, то и минуты не сидел бы здесь, а махнул бы сразу или на край овсяного поля в лощину, или в лесок.

Бабка завернула к сельмагу (тут всегда находились охотие до всяких новостей), похвалилась перед соседками, сколько набрала ягод, разделила горстку землянички малышам и вдруг вспомнила:

— Давеча диво видела: выбежал ко мне заяц-овсянец, гладкий, серый, с моего козленка.

Оживился дядя Костя:

— Куда ж тот овсянец делся, Марфа?

— А опять к себе, в овсы.

Так бабка Марфа и нарекла зайца: Овсянец.

Дядя Костя, ничего больше не сказав, отошел от женщин...

Сквозь дрему заяц вдруг услышал:

— Ах вот где он скрывается! Как же мы не встречались раньше!

Заяц встрепнулся, сразу догадавшись, что это голос охотника, и вскочил.

Сильный, красивый, спина с горбинкой. По овсу поплыл, как по воде. Хотя в руках человека ничего и не было, заяц отбежал от него на расстояние выстрела, затем с опаской вернулся к дороге, присел, затаился, поставив большие, просвечивающие на солнце уши в дозор, сердито стряхнув с левого муху.

— Мы еще встретимся, Овсянец, — пообещал дядя Костя.

Заяц напрягся, запоминая голос — хриловатый, старческий, пропускавший каждое слово с замйнкой.

Охотник пошел легкой, неслышной походкой, и не к своей деревне, как ожидал заяц, а к соседней.

Тревога охватила зайца.

Легли на овсяное поле вечерние тени, перестали петь жаворонки, порозовело небо. Заяц лизал росу на траве, как вдруг опять невдалеке послышались шаги охотника.

«Это он возвращается домой», — догадался заяц.

Заяц замер и ни одним движением не выдал, где он.

Вот и еще одним врагом стало у него больше. Охотник, поди, и знать не знает, что за ним, самым большим и сильным зайцем с овсяного поля, два лета и две зимы гоняется лисица с Кичемкинского оврага; она живет в норе под корнями старой сосны. Заяц знает все ее хитрости и все ее дороги. И уходит. Иногда легко, иногда трудно.

Прошлой осенью ребяташки из той самой деревни, куда ушел охотник, наткнулись на нору, сбегали за топором и загородили выход ольховым частоколом. Как же они, глупые, не догадались, что у лисицы был еще один, тайный выход через куст бузины? На кольях, вбитых в землю, поселился паук, за одно утро выткал свою сеть, и ребяташки, наведавшись к норе, подумали, что тут никто не живет, успокоились и ушли.

Зайцу понравилось его новое имя — Овсянец. Мать родила его и сестренку в овсе, на этом самом поле. Он сразу же, как обсох, научился бегать, таиться, спать с открытым глазом, глядеть и слушать. Бегать проворно, как ни один зверь не бегаёт в его родных местах. Таиться так, что враг рядом пройдет, а не откроет, где он. Глядеть, сразу все замечая и оценивая, откуда угроза, как миновать ее. Слушать — до боли остро, мгновенно определяя расстояние звука: тявкнула собака — в деревне, зевнула лиса — за вересковыми кустами, ухнул филин — на сухой ветке сосны в Кислом урочище.

«Заяц родится с хитростью, — наставляла его и сестренку мать, — и умирает, как только теряет ее».

Овсянец вспомнил свою первую хитрость. Они с сестренкой быстро росли. Он любил сестренку, менялся с ней у сосков матери, играл в догонялки, вместе с ней знакомился с полем и лесом, прятался от врагов.

Однажды утром на их овсяное поле, теплое и сытное, приехала какая-то большая машина, загудела и пошла кружить. От каждого ее заезда поле становилось все меньше и меньше, будто его стригли. Матери не было, и

они страшно перепугались. Он звал сестренку бежать в лес, а она отказывалась, боялась. Машина уже подбиралась к ним.

«Бежим!» — сердито приказал он сестренке. Он первый высоко вскинулся над овсом, чтобы разглядеть дорогу, и полетел. К лесу. А за ним — сестренка.

— Зайцы-ы! — весело крикнул человек на машине.

Но они выкатили уже на пригорок и нырнули в кусты.

Овсянец, как все зайцы, жил и справлял свои обычные дела ночью, а днем отсыпался. Меньше глаз видят — меньше врагов. Но в тот раз случилось так, что его в овсе открыли мухи и так пристали, так надоели, что пришлось менять место. Он поднялся, чтобы перебежать поле, и тут его углядела бабка. Он не боялся людей летом и не придавал никакого значения тому, что его открыли. Выходит, зря. Бабка прислала охотника. Пришел тот старик поглядеть на него и запомнить. Охотник часто ходил дорогой через овсяное поле. Даже если лил дождь. Заяц не знал, что старый человек был лекарем и его часто вызывали то в одну, то в другую деревню. Зайцу же казалось, что охотник приходит на овсяное поле, чтобы узнать, тут он или нет.

И как только Овсянец уловит знакомые шаги на дороге, так и затаится.

Однажды он почувствовал запах ружейного масла, смешанный со слабым запахом табака, и понял: старик готовится к охоте, к встрече с ним. И еще заяц с грустью подумал, что скоро осень — время больших тревог для него.

Скосили овсяное поле. И все другие поля скосили. Задохматилось небо. Пугая, зашуршал, зашептал под ногами опавший лист.

Морозы ударили без снега. Поля стали просторными и тихими. Улетели птицы, перестали докучать голоса людей. Исчезли до весны многие запахи. Теперь дерево пах-

ло не цветами, не листьями, а корой; земля — не васильками, не ромашками, не одуванчиками, не лебедой, а только землей. И над всеми запахами был главный — запах мороза. Все стало проще, видней, а вот заволновался Овсянец. Зимы боялся или встречи со старым охотником? Нет, волновался он совсем по другой причине: сам рыжел, а задние ноги, поди ж ты, и на этот раз оказались в белых штанах. Каждый приметит сороку, потому что белобочка. А его? В белоштанном наряде далеко видно. И приходится хорониться в березовых опушках, а на «дневку» прятаться, каждый раз изобретая все новые и новые места: то в костер хвороста, то в елочную густель, то под стожок сена, то в кусты лозняка на берегу речки Покши. Как можно меньше прогулок — уже охотники рыскают по полям, по лесным опушкам. Уже дважды издали Овсянец видел старого охотника и порадовался, что тот бродит без собаки. Так-то легче провести. Глаза видят, уши слышат, ноги бегают.

Перетерпел, пережил Овсянец трудное время — выда-ла зима белую, теплую, легкую шубку. Попробуй углади, где снег, а где заяц. Радоваться бы да ведь он не первогодок, знает: пролетел вихрем через овсяное поле, а за тобой следок. Будто расписался, что был заяц. А охотчих читать заячью грамоту ой как много!

Морозно. На опушке березового островка твякнула лисица с Кичёмкинского оврага. Овсянец, повернув голову, прислушался... Напала на след, скорей наутек!

Как ни хитрил, как ни петлял беляк, лисица не отставала. Она гоняла его весь вечер и с малыми передышками всю точь. Отощал заяц, ноги устали, в голове зашумело. Только к утру отвязался Овсянец от настырной лисицы, пожевал сухой травки и залег в снег близ тропы, по которой ребята ходят в школу. Уснул. Тут выпал новый снежок и прикрыл Овсянца. Тепло ему. Сладко спит-ся...

О том, что было дальше, Овсянец мог только смутно догадываться. Если бы он, самый сильный и хитрый заяц с овсяного поля, обладал даром понимать человеческий



язык, только тогда перед ним открылась бы во всей подробности картина того самого зимнего утра, когда он ушел от лисицы с Кичёмкинского оврага и, усталый, лег спать.

Вот бы какой рассказ услышал Овсянец о себе самом, и не от кого-нибудь, а от старого охотника дяди Кости.

— С тропки углядел я Овсянца. Спал хитрец с открытым глазом в норе. Со мной был учитель, Михайло Петрович. Поставил я его на тропе, велел быть наготове, не двигаться, не курить, не шуметь, а сам, пригибаясь, тихо-тихо приблизился к норе. Ружье опустил на снег и изготовился схватить зайца... Того будто кто толкнул в бок: проснулся, а перед ним я, собственной охотничьей персоной. Такой, братцы, ужас колыхнулся в круглом, с красинкой, заячьем глазе! Жуть! Некуда отступать! От лис уходил, от собак, от охотников, а тут без выстрела,

без угрозы смертушка пришла... И только, страсти мои, хотел я упасть на зайца, чтоб подмять его в снежной норе, Овсянец и прыгни... На меня. Учитель не даст со-
вратъ. Больше ему некуда было прыгать. Опередил охот-
ника. И угодил лапами в живот мне. Тут я и успел схва-
тить зайчину варежками за длинные уши. Схватил, при-
поднял в воздухе и вскрикнул с превеликим ликованием
перед дружкой: «Он!.. Овсяне-ец! Гляди, Михаил, чер-
тушка какой!.. Без ружья взял добычу-то!..»

Овсянец брыкался, плясал на весу, тя-я-желый, да
как упрется задними ножищами в мой полушубок, да
как рванется изо всей силы, да как дернется — уши-то
его и выскочили из моих варежек. И-и-и... взметнулся от
заячьего скачка снег.

Ох-хо! Упал я на снег, лежа трахнул из ружья вдо-
гон. Да где там — мимо. Руки дрожали. Скрылся мой
Овсянец в белых снегах.

Сдерживая смех, лотковцы допытывались у охотни-
ка:

— Так как же ты выпустил зайца?

— «Как же, как же»! — сердито отвечал дядя Кос-
тя. — Уши-то у него были ровно шелковые — выскольз-
нули...

Был Овсянец в руках старого охотника и ушел. Шел-
ковые уши выручили.

ОЗОРНИКИ

Вешнее солнце пробило облака, день из пасмурного,
волглого стал ясным, просторным, веселым.

Тетка Анна шагала из магазина, в сумке через пле-
чо несла хлеб, сахар, пакетик карамели и коробку вер-
мишели. Уже показалась своя деревня в два посада, вся
деревянная, крепкая. Вот и родная изба, где родилась и
выросла, вот и высокие березы во дворе... Сверху, с неба,
с ветвистых берез слетел дружный, рабочий грачиный
переклик.

Для тетки Анны эта весна была уже шестьдесят восьмой по счету. Она радовалась теплу, траве, грачиным голосам.

Женщина отставила в уголок на свое место палку, подпиравшую дверь, вошла в сенцы. В избе покупки выложила на кухонный стол, скоро переделалась, чтобы топить печь.

Принесла полную охапку дров, пошла за растопкой.

Еще по осени вырубилa шибко разросшийся лозняк, окружавший со всех сторон пруд. Прудом тетка Анна дожила: на своей удворине, под рукой, только не ленись поливать огурцы, клубнику, капусту, яблоньки, смородину. Лозу всю изрубила на чурбаке на равные кусочки и сложила к стенке сарая. Пучок-другой — славная растопка.

Поздоровалась соседка, спросила, как сходила в магазин, тетка Анна ответила, что все, что нужно было купить, купила и что мостки через весеннюю речку Покшу наладили.

Еще за несколько шагов до сарая тетка Анна заметила перемену: стенка оголилась, растопки не было. Почти вся была унесена. Когда? Кем? Зачем?..

Старуха остановилась растеряннo... Громко закричали грачи. Она машинально повернулась и подняла голову к вершинам берез. На двух крайних к избе березах увидела пять или шесть новых гнезд. В отличие от старых, черных, эти были светло-зеленые, свежие, приметные. Они были построены из ее дровец. Из прутиков лозы: ровная отрубка, светло-зеленая кора.

— И-и... И не стыдно вам! Так обидеть старуху!.. Ты глянь, милая, глянь, — обратилась она к соседке, — куда дровишки мои улетели. И хотела бы, так теперь не достать. Ах, озорники, озорники! А ведь я-то и не ругивала вас никогда, и не гоняла.

Грачи взлетали, садились опять на гнезда, шумно горланили.

— Это они, Анна, прощенья у тебя просят, — рассмеялась соседка.

— Да ладно уж... Раз так вышло, придется лучину шепать, — тетка Анна долго не уходила со двора, все взглядывала вверх, все изумлялась столь неожиданной грачиной проделке.

ПАСТУХ И ЛИСЕНОК

Старого деревенского пастуха Василия Ивановича угостили копченым лещом.

Когда пригрело солнце и коровы легли на траву отдыхать, пастух сел на ствол поваленной березы, расстегнул ворот синей рубашки, снял старую шляпу и занялся лещом.

Лещ был жирный, вкусно пахивал ольховым дымком, золотистая кожа легко отдиралась.

Пастух, почмокивая, обсасывал каждую косточку и кидал за плечо.

Вдруг за спиной кто-то стал похрустывать.

Василий Иванович повернулся — лисенок. И хрустел он лещовыми косточками. Круглые голодные глаза глядели тревожно, напряженно, на белом подшейке складка, смуглый нос заострен; вся фигура длинная, тощая, плоская.

— Ну вот, — улыбнулся пастух, — еще гость. То ежели есть ко мне дело, то белку разбирает любопытство, что это дед из прутьев вяжет, то лягушонок пожалуй греться на плащ... Теперь вот — ты. Давай знакомиться. Назовись. Да скажи, не стесняйся, откуда припожаловал.

Пастух повернулся к лисенку, тот отпрянул, но не убежал. Тогда дед кинул кусочек леща на траву:

— Угостись... А рыж ты, как молодой одуванчик. Не бойся, не трону, Одуванчик. Не желаешь открываться, откуда родом, и не нужно. И так знаю. Шестеро вас было у мамки в Кичёмкинском овраге. А только чтой-то давненько не видывал ее. Жива-здорова?.. Теперь кожицы лещовой отведай.

Лисенок при каждом движении пастуха отскакивал,



но тут же осторожно придвигался, не сводя глаз с подачки.

Так вместе они и подкрепились лещом.

— Одуванчик, ты завтра наведайся. Припасу угощение, — пообещал Василий Иванович зверю и поднялся.

Лисенок нырнул в березнячок и больше не показался.

На другой день Одуванчик снова объявился, точно угадав обеденный час пастуха.

— Смышлен. Эх, хе-хе-хе, давай к столу, — пастух развернул газетный сверток, и лисенок впервые попробовал хлеба с маслом, творогу, сдобного печенья бабки Марфы, которым был угощен Василий Иванович. — Можно жить... Хе-хе-хе, — засмеялся пастух.

Лисенок почесал левой ногой подбрюшье, присел, доверчиво поглядывая на пастуха, и опять подался в тот же березнячок, но уже не так поспешно, как вчера.

Так вот и подружились они. Иногда пастух звал лисенка голосом и свистом, и тот прибегал, радостно взвизгивая, подпрыгивая, когда рука с косточкой или хлебом взлетала вверх. Но чаще лисенок находил друга сам, где бы тот ни кочевал со стадом. Обедали вместе.

— Рассказывай, где бегал? — требовал дед.

Одуванчик глядел на него, не моргая, и тогда пастух отвечал за лисенка:

— Бегал на Зайцевское поле, мышек ловил. Так ведь? На том поле три гнездышка с жаворонятами. Смотри мне, не разори. Певцов, Одуванчик, полагается беречь. Не тронешь? Договорились? Ладно, коли так... А теперь накормлю тебя молочной кашей.

Лисенок пристраивался к миске, пастух вытягивался на траве и дремал.

Аппетит у Одуванчика был всегда: давали молочную лапшу — ел молочную лапшу, кильку в томатном соусе — не отказывался, угощали вареным яйцом — принимал. Но пуще всего полюбился ему сахар. На лету хватал пиленный белый кусочек и — раз! — крошил мелкими острыми зубами.

Шерсть у Одуванчика стала гладкой, рыжина загустела. Пастух, посмеиваясь, шутил:

— Откормился. Ишь, каким здоровым стал! Одуванчик, слышь, к тебе обращаюсь, а не будет так: за все мое добро наведаясь в деревню да и стянешь у меня курицу? Ох-хо-хо... Не можешь ответить? Оно и понятно, какой с тебя, зверя, спрос?

Лисенок садился на задние лапы и, не двигаясь, остро поглядывал, как шевелились руки пастуха, как в рядок укладывались гибкие ивовые прутья.

Теперь лисенок не боялся побыть возле пастуха подольше. Иногда он провожал его то в лес, то на луг.

Скоро бежало лето. Вызолотились хлеба, речка с утра клубилась туманами, и однажды Одуванчик не пришел на свидание к пастуху.

«Вырос лис. Теперь без меня проживет... А может, еще доведется повстречаться? Признает ли тогда?» — подумал пастух и удивился, что грустит.

В доме учителя Николая Дмитриевича появилась уточка — кот приволок с речки Покши.

— Вроде еще живая! — изумился учитель.

Кот свирепо урчал, не выпуская добычу. Пришлось отнимать.

Уточка была ранена в крыло, и Николаю Дмитриевичу нетрудно было представить, что случилось. После выстрела охотника подранок упал в заросли лозняка и, пересиливая боль, затаился там. Охотник был без собаки и не нашел свою добычу. Может, целую неделю страдала птица. А тут ее выследил кот — любит шнырять по берегу речки.

Рана была обработана, крыло выправлено, зажато двумя палочками и перевязано бинтом.

Утя — так ее назвал Николай Дмитриевич — постепенно привыкала к новому жилью и своему хозяину. Стоило ему зашелестеть бумагой на столе, выкатывалась вперевалку и приседала у ног.

— Что, Утя, будем читать и писать? — спрашивал учитель.

Время шло. И вот уже под северным солнышком запылали, заалели покшинские леса, крепкие ветры-листомеры обрывали листья с берез, ольхи, орешника, черемух, осины. Потянулись на юг журавлиные стаи. Чаше стали выходить из лесов на опушки лоси. В укромных местах попрятались, залегли до новой весны ежики... Пришла осень.

Утино крылышко зажило, вся она покруглела, перо стало чистым, лоснящимся, и к серому его цвету добавились фиолетовые и фиолетово-зеленые переливы. Круглые глаза больше не задерживались пленкой, глядели остро.

Однажды Николай Дмитриевич вошел в дом с корзиной. Наклонился к уточке. Утя захлопала крыльями, защелкала клювом.

— Ну, Утя, отправимся на реку. А то прозеваем, уле-

тят твои родичи. — Он посадил Утю в корзину, прикрыл куском старой клеенки и понес.

Утя сразу признала реку Покшу, и ольховые и ивняковые заросли по берегам, и родной плес. Живое порхнула с руки, пролетела и села на воду. Побила крыльями, поплавала, поныряла.

— Вот и славно. Вот все у нас и уладилось... Теперь плыви, куда хочешь, лети, куда вздумается, — сказал учитель и кашлянул от волнения.

Еще постоял, потом медленно повернулся и пошел от реки.

Да не утерпел, оглянулся. Оглянулся и охнул удивленно: Утя расторопно спешила за ним по зеленой траве.

«Эге-е, значит, нет еще силенок...» — подумал учитель. Вслух же сказал:

— Что же это получается у нас? Придется зимовать зиму вместе. Задача...

Уточка осталась в доме. Она безошибочно угадывала, когда уходит учитель в школу и когда его встречать. Особенно полюбились ей «ванны». В тазик или корыто Николай Дмитриевич наливал воду, и Утя, взлетев, принималась шумно плескаться.

А за окнами трещал мороз или высвистывала метелица.

Еще нравилось ей снимать с валенок хозяина капельки влаги — он даже нарочно снежинки на валенках оставлял.

Много, много дней прошло, пока не вернулось солнце. Весна понаделала полыньи на речке Покше. Уточка заволновалась. Она чаще стала взлетать, бегать, хлопать крыльями, проситься на волю.

— Все понятно, — сказал Николай Дмитриевич. Позвал Утю, посадил на ладонь, другой ладонью погладил по голове, шейке и спинке. — Все понятно: разлука пришла. Только уговор, Утя: будет трудно, наведывайся. — И вынес утку на волю. Махнул руками снизу вверх и сильно кинул.

Спустя три часа Николай Дмитриевич, как обычно, шел в школу. И, на всякий случай, завернул на реку. Пригляделся и увидел в самой широкой полынье большой серый поплавок: то нырнет, то вынырнет, то нырнет, то вынырнет.

— Твоя весна пришла, Утя, живи теперь на воле, — сказал учитель.

ЕЩЕ ОДНА ОХОТА

У деда Степана умерла бабка — в сенокос. Остался дед один. Потихоньку шорничал в колхозе, ухаживал за садом и ульями, носил грибы, читал журнал «Пчеловодство» — вот и все заботы.

Осенью, когда затвердела земля, снес в соседнюю лесную деревеньку Мизгирево ружье и капкан. Сказал племяннику:

— Бери, пользуйся.

— Спасибо. А сам? — улыбнулся Григорий, уж больно ветхими показались ему ружьишко с капканом.

Улыбка вышла обидной. Дед отказался от угощения, засобиравшись домой. Шел то лесом, то полем и всю дорогу корил племяша: «Другой бы, приличия ради, спросил, по-divился: и этим ружьем и этим капканом ты больше всех в колхозе пушнины добывал? И ведь знал Гришка, знал, что так оно и было, но не спросил. И-эх!..»

На выходе из Колодинского оврага дед Степан выпугнул зайца, сытущего. Заяц, к удивлению охотника, не кинулся наутек, пересек дорогу и сел за пнем.

— Хитрец... Ну, хитрец, — обратился к зайцу дед, — неужели ты подглядел, когда я нес ружье и капкан?.. Ладно-о! Теперь я тебе не вредный. Ходи-гуляй свободно.

И когда снег лег, и когда ринулись морозы, дед Степан не жалел, что не ходил на охоту, хотя вспоминал и давние-давние и недавние свои удачи. И вздыхал: «Вот бабку мне жалко больно».

Бывало, бабка Серафима удивлялась, хлопотала, аха-

ла, а он, прислонив к горячей боковине печи свои широкие ладони, снисходительно и ласково поглядывал на нее. Повертев глухаря, покачав на руке, находила выход дробинки и складно причитала: «Ты уж прости мово деда... погорячился. Вот и вышло-о нескладно». А лисиц гладила по голове, как котят, и попрекала: «Все хвалят вас — хитры-хитры, а вот умишка-то и не хватило. Обмишурил старик-то мой. Но не нужно обижаться, извиняй его... Такая твоя доля, такая его доля».

Бывал охотник и пуст. И не раз и не два, но бабка Серафима не корила его. Глядела женски-жалобно, словно хитрые зайцы, проворные лисы и ворчуны-глухари провели и ее вместе с дедом.

— Садись-ко, Степа, к столу, щец тебе горячих подам. В другой раз принесешь.

Дед Степан быстро старел — это он чувствовал по ногам: чуть откатится мороз, ноют — спасу нет. Без охоты эта первая зима казалась ему долгой.

А тут слух прошел: будто бы объявилась в заволжских лесах лисица, какой никто никогда не видывал — без меры хитра, сильна, якобы пришла сюда из вологодских лесов. И вот обжилась... Трижды пощупала Рандеевскую птицеферму, расчетливо миновав капканы и во второй и в третий приход, а злой сторожевой пес, словно зачарованный дивной красавицей, глядел на ее проделки и, к удивлению всех, не подал даже голоса.

Потом лиса пересчитала кур у охотника Налимова из Сенежникова, потом погостила у гусей бабки Шамовой в деревеньке Глинки, и свирепый гусак, дед Степан знал его, понравился ей, унесла.

Всю ночь деду снилась лисица, он гонялся за ней и настигал, и можно было легко достать ее выстрелом, но никак не мог найти ружья. В лисьем оскале был открытый вызов: меня не проведешь.

Он проснулся и подумал: я убью ее, эту хитрую лисицу.

С печи деда подняла птичница Зинаида Стожарова. Была она в шубе и валенцах, пахла морозом и молоком.

Зинаида ждала третьего ребенка и одевалась тепло.

— Я за тобой, дед Степан.

— Куды зовешь? — Дед обулся на печи и только тогда слез.

— Проведала и нас рыжая чертовка. У Вербиных двух курочек своровала. Уже неслись, жалко... Мне вчера на совещании рандеевские и сенежниковские наказали: «Попроси ты деда Степана, пусть, мол, отвадит...» Полы у тебя нужно помыть. Пришлю своих девчонок, — сказала, вздохнув, Зинаида.

— Молодые стрелы есть... Тот же Мишуха Налимов.

— А-а-а, — отмахнулась бригадирша. — Ему нужно сначала выпить, а уж потом гоняться за зайцами. Черта ли толку в таких!

Дед в то же утро сходил к племяннику Григорию. Из ружья его так никто и не стрелял, а капкан валялся в сенцах под лавкой, на лавку ставили ведра с водой, плескали, и капкан здорово заржавел. Поругать бы Григория, да не было его дома. Проходил учение на механизаторских курсах.

«Ну, все. Больше ни ружья, ни ловушки не получит. Витьке Водовозову отдам, парнишка так и вьется возле меня. Во всем помощник: сыромятину ли на полосы раскромсать, рамку для пчел сбить, дровишек ли наколоть. И все пытается про зверей да птиц... Толков. Витьке и отдам...»

Лесная дорога зимой завлекательна. Вот молодые лоси озорovali, уперлись лбами, попробовали друг друга спихнуть. Распахали снег. Один сохатый оставил на месте схватки желтые галушки, второй — клоч жесткой серой шерсти. А под этой старой сосной на снегу свежие россыпи снега же, хвоинки вилочками. Что тут было? Белка прыгала и обвалила.

Дед Степан завернул к Вербиным, пригляделся на задах к следу лисицы, крупны, без опаски давила, взял куриное крылышко и лапку. Дома он вычистил ружье и капкан. Понурился, вспомнив бабку — то она ему, бывало, все подсобляла собираться на охоту. Теперь вот сам.



«А-а, сам — так сам...» Сходил в кладовку за старой лисьей шкурой, погрел шкуру на печке, а как стала теплой, привязал на поясницу перед походом.

Своим огородам дед вышел к заваленному снегом ручью на широченных промысловых лыжах, с ружьем и капканом. Проехал неспешно березовой опушкой, а тут и ржаное поле с полузанесенной снегом скирдой соломы. И сразу повезло — напал на след. Снег был синим и мягким. Даже замеченный хвостом лисий след был крупен и глубоко уходил в снег. «Сытая, однако, голубушка».

Он шел тихо и думал: «Зачем, спрашивается, сюда пришла — мышковать, приглядеть, нет ли куропаток?.. А может, отоспаться? На мягкой солодке?»

Морозило. Дед Степан поставил на всякий случай капкан и стал огибать скирду. И вдруг показалось, что кто-то поджег солому. Вот-вот охватит огнем всю. Он не успел удивиться, как рыжее пламя отпрянуло от соломы. В снега. У деда больно кольнуло сердце: она! И в то же

мгновение грянул выстрел. Охотник сразу почувствовал, как ослабели его ноги. Он зажмурился и стоял долго-долго с закрытыми глазами — все равно ведь второй раз не удастся выстрелить. А вдруг не промазал?..

Сначала он увидел небо. С одной приветной звездочкой. Пунцовой, красивой. Сам собой перемигнулся дедов глаз с ней, и она будто попеняла ему: а ведь промахнулся. «Промахнулся, промахнулся», — нарочно прошептал он... Потом он увидел сороку, она, как вертолет, неуклюже, не по-птичьи, летела... Значит, заглядывала на что-то... Дед снял шапку, редкие волосы были мокры, а глаза заблестели от радости. Первым он, он узнал от сороки, что убил лисицу, хитрую, сильную, что она вон там лежит на глубоком снегу и ждет его...

НА КОРДОНЕ

Ноздри уловили запах дыма, крепкого и горького — дыма от березовых дров. И сразу повеяло жильем. Я, не мешкая, повернул лыжи на кордон.

Сколько раз доводилось мне заглядывать сюда к леснику дяде Матвею. Из лесовиков лесовик! Чайком угостит, заваренным брусничником или смородиновым листом, попотчует копченой рыбой и дичью, выставит в глиняной миске рыжики такого удивительного засола, что не утрачивают ароматы леса. А былиц-небылиц! Только слушай. О деревьях, зверях, птицах, травах Матвей-лесовик рассказывает, как о своих близких родственниках, во все их тайны вхож. И может голосом изобразить, как трубит лось, вызывая соперника на бой, как свистит кулик, как кричит заяц, как шумят осина и береза на малом и большом ветру. По приметам зимы и весны угадывает, будут ли и какие ягоды и где и какой урожай выпадет на грибы.

Расступились сосны и ели, отпрянул березняк, и показалась поляна. Лесников пес Лохматый не облаял меня. На пригорке поляны под тремя березами избушка,

крыша заметена снегом, малые оконца, низкая, прямо с улицы, дверь; около избушки огородец, за огородцем, на солнечной стороне, три поленницы: белые березовые дрова, еловые и сосновые — для больших холодов — и ольховые — ими дядя Матвей коптит рыбу и дичь.

К двери избушки прислонена палка — хозяин в отлучке.

Дымок струился из баньки, поставленной у самого ручья. «Протопил лесник баньку и, пока угар не вытянет, на лыжах подался в лес. След свежий».

Избушка с заиндевелым мхом в пазах, банька, поленницы дров, огород, тропа к ручью, следы на снегу Лохматого — все это сразу настроило меня на домашний лад.

Ручей подо льдом и все его извилистое русло увито го белыми, то синими снегами.

Я спустился по тропе к проруби. Почему к проруби? Секрет. Секрет! О нем знают немногие. Только те, к кому благоволит дядя Матвей. Около проруби громоздятся горки льда, прозрачно-синего, как хрусталь. К стволу ивы прислонен лом, в снег черенком воткнут черпак с металлической сеткой — колотый лед выхватывать. Хотите, чтобы рассказал про секрет? Сейчас, только поглядим, живы ли? Вода побулькивает, холодна и чиста. На дне просматриваются камешки и желтый-желтый песок. Где же они? Приглядываюсь, верчу головой, приглядываюсь — пусто, ничего не видать. Может быть... Какая-то темная травинка шевельнулась. И сорвалась с места, и подхватило ее течение. Тут травинка перестала быть травинкой, вильнула и поплыла против течения. Светлые точки, плавнички. Теперь уж не сшибусь: пескарь. А где же два его братца? Да вон же они, у самой кромки льда. Вот собрались в кучку и давай резвиться: один перед другим вертятся, снуют и вдруг, как по команде, сорвались, и их откинуло течением. Под лед. Я их жду в том месте, где закраина проруби, а они, хитрецы, проскочили подо льдом и к проруби вернулись сверху.

Дядя Матвей подкармливает пескарей кашкой, хлеб-



цем, червями, червей он держит в ящике в погребе; пес-
карики его знают и приплывают на его голос.

Пескари привыкли к тому, что из проруби черпают во-
ду ведром, привыкли к зверям и птицам. Сюда из лесу
приходит на водопой лось Кедр. Его дядя Матвей подо-
брал полуживым в лесу. Мать убили браконьеры, а ма-
лыш таился в кустах. Дядя Матвей поил лосенка моло-
ком из бутылки — соску приладил. А подрост — хлебцем
подкармливал, картошкой, ветками ивы и осины.

Кедр приходит на зов лесника, сует длинную морду
с вислой верхней губищей к рукам, карманам, только что
не спрашивает: чем угостите, почто звали?

Кедр пьет шумно, затягивает своими большими гу-
бами воду так сильно, что пескари остерегаются: не за-
сосал бы и их заодно; с оглядкой пьет лисица, всегда не-
ожиданно появляется куница; закидывая головку, на-
слаждается каждым глоточком рябчик, веселая птица, а

ворона, напившись, сидит долго и мрачно глядит на воду, караулит пескарей. Но они давно разгадали злое ее намеренье.

«На кордоне всегда живут тайны». И только подумалось так, со стороны Гридинского урочища раздался знакомый лай.

Я пошел к избушке. И вдруг на поляну вылетел громадный лось, а на буксире у него был не Берендей, а сам дядя Матвей. К широкому брезентовому ошейнику лось приторочены вожжи — не вожжи, а два шнура, за концы их и держался дядя Матвей, расторопно правя широкими охотничьими лыжами. Лицо лесника было малиновым, распалилось от быстрой езды, воротник полушубка серебристо заиндевел.

За лесником галопом поспешал пес Лохматый.

— Сто-ой, Кедраша, сто-ой! — выкрикнул дядя Матвей, увидя меня.

Лось команду принял и затормозил, и остановился; дядя Матвей отвязал шнуры от ошейника, поздоровался со мной и спросил, усмехаясь:

— Ну, учитель, как мое такси?

— Безотказно! Безупречно! Завидую, Матвей Егорович! — честно признался я.

— Вот, брат, что любовь делает! Взаимная! — он потрепал лося по холке. — Сейчас, Кедраша, угощеньице принесу. — И пошел в избу.

Лось был весь литой, громадный, с гордыми разлапистыми рогами, на каждом по семи отростков, буро-серой шерсти цвета лежалого мха. Он поглядывал на меня безо всякого интереса, чутко настораживал ухо на избу.

Дядя Матвей вынес Кедру картошки в ведре. Крупная была споловинена. Лось пошевелил верхней губой, поймал картофелину, послал ее в рот и вкусно захрустел.

— Та-ак, рассказывай, учитель, рассказывай: зачем на кордон пожаловал? — спросил дядя Матвей, стряхивая ладонью росинки с воротника.

— На тебя поглядеть. — Я улынулся. — Доложить, что задание твое выполнил. — Я расстегнул куртку, по-

лез за пазуху и вынул из бокового кармана белый ситцевый мешочек с малиновым шнурком и передал леснику.

— Был, значит, на опытной лесной станции у Багаева? Привез семена карельской березы? Вот спасибо, Михаил Петрович! Большое спасибо за то, что хорошему делу помогаешь!

— Тут семян на добрую рощу карельских берез. Так мне Багаев сказал.

— На рощу так на рощу. Мы работы не боимся...

Лось Кедр глядел на нас с удивлением, даже картошкой перестал хрумкать — чему это так обрадовался хозяин?

— Добро-о. Весной высеем... Может, и ребятишек вашей школы подключим?.. Тогда совсем хорошо. — Лесник спрятал мешочек в своих огромных ладонях. — Айда в избенку. Смородиновым чайком погреемся.



В ЛЕСНОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

— Вес-на-а-а-а!.. — вопит мальчишка на бегу, будоража деревенскую улицу, пальто нараспах, шапка крутится в руке. Сколько ликования в этом звонком голосе: ждал — и дождался!

— Вес-на-а!

День пронзительно-солнечный, снега настолько белы, что слепят глаза, и, чтобы оглядеться кругом, нужно приложить ладонь козырьком ко лбу.

На березах ветки кажутся сиреневыми, оживают, а сосны и ели на речном откосе зеленым-зелены.

Прямо на деревенской дороге токуют голуби, самец крутится возле голубки, кланяется ей, веером разворачивает хвост, напускает иссиня-фиолетовый воротник на шейку и сразу становится крупней, пригожей, и при этом воркует, воркует взახлеб, то и дело вспыхивают драки среди воробьиных стаяк; весело, резко кричат галки: «Таёт!.. Таёт!.. Таёт!..» — это они о снеге.

И какая же весна без ребячьей скакалки?! На вытаявшем из снегов школьном крыльце запасного выхода (тут никто не мешает) стайка девочек. Пальто скинуты и положены горкой к двери, тут же портфели. Две четвероклассницы крутят розовый шнур, а третья, та, что в зеленой кофте и серых обношенных валенках, прыгает. Легко, весело, с улыбкой. Сбоку три подружки ждут-не дождутся своей очереди... Вот валенки сбились с размеренного скока, и теперь, обманывая скакалку, ловко щелкают о крыльцо черные сапожки. Девочка, рыжая, как солнце, проворна: розовый шнур отсекает каждый прыжок.

— Пятьдесят!.. Ошибись, Тань!

— Засмейся! — советует очередь.

Но — нет. Таня в том упоении, в том дерзком задоре игры, когда не знаешь устали и все удаётся, как хочется.

Скакалку обновили все. И вижу по лицам, глазам, жестам — прыгуньи успели породниться с весной.

Три пацана важно несут к березе огромный еловый, хорошо обструганный шест, на остром конце его новенькая, золотисто взблескивающая на солнце скворечня.

От речки Покши на взгорок поднялась доярка Настенька Березина. На коромысле два ведерка. Остановилась передохнуть, шумнула:

— Мальчишки!.. Девчонки!.. Айда сюда! У меня в ведерке рыба! Зачерпнула водицы, а окунь и поймался. Вот уж мой Витяша обрадуется!

Всем сразу захотелось поглядеть на окуня. Стоят ведра на снегу. В ведрах — солнце. Только когда мальчишки и девчонки плотно окружили доярку, увидели окуня-

краснопера. Всплывет наверх, всплеснет и—снова вглубь.

А теперь деревенским простором впервые овладел пестух: такую голосистую здравицу пустил, что его «ку-ка-ре-ку» улетело под гору, к Запокшинскому лесу, рванулось за околицу в поле.

ЛАСТОЧКИ

На березе, что у нашей избы, и дуплянки, и старая кадушка, и старые бидоны, и ящики — и все это приспособлено скворцами под жилье. Удивительно, но вся эта «площадь» занимается птицами. В бидонах по два этажа, и на каждом из этажей жильцы. Сколько писку, песен, колготни!

Нынче ласточки прилетели к нам поздно, весна выдалась холодной, и лепить гнездо из глины им, видать, было трудно. Да и некогда, если разобраться... И семья ласточек нашла выход: один из старых бидонов, который почему-то оказался незанятым, отвергнутым скворцами, был исследован и сгодился под жилье ласточкам.

Возле дырочки был железный язычок наружу, ласточки прилетали и садились на него, отдыхали, оглядывали деревню, огороды и закраек леса, а когда появились малыши, то с этой крохотной площадки было очень удобно кормить их. Птенцы по очереди выглядывали в оконце и, раскрыв клювик, принимали от папы и мамы мошек, паучков и букарах.

Вот тут, на открытом обзоре, я и подглядел, что ласточки — очень строгие учителя. Когда пришла пора вылета из домика и нужно было начинать свою жизнь, пробовать крылья, а какой-то из птенцов мешкал, трусил, родители решительно выталкивали его из гнезда: лети или падай. Жестоко? Да, жестоко, пожалуй, но другого выхода не было. Не научился летать — погиб...

...Вот «на старте» уже последний птенчик оробело крутит головкой, как бы говорит: «Высоко-то как!», к нему подлетает мать, сердито щебечет, дескать, «смелей, сме-

лей», и, задев крылом, сталкивает с крохотной металлической площадки.

Я даже глаза закрыл, но все обошлось благополучно, малыш не оплошал: падая, стремительно раскрыл крылья, резво, старательно махнул разок-другой и — полетел. Полетел! Сам! Выписав в солнечном воздухе круг, он тут же пристроился к своим братцам и сестренкам, и они теперь уже всей семейкой, под присмотром папы и мамы, разумеется, радуясь, опробовали крылья. Как у них все славно получалось: и повороты, и взятие высоты, и спуски!

— Все отличники! Все! — смеясь, сказал Сережа.

Они летали над деревней, над холмом, над речкой, над полем и лесом. Летали, где хотелось. Летали, сколько желалось. А отдыхать садились на провода, возле какой-нибудь избы.

Бабка Марфа, видя, с каким интересом мы наблюдаем за птицами, молвила:

— В каждой деревне есть свои ласточки. Летайте, катки, летайте на здоровье.

Так было и на этот раз. Птенцы сидели на проводе над нашим огородом. Но вдруг что-то случилось: четыре малыша, пискнув тревожно, сорвались с провода и кинулись в сенцы нашей избы — дверь как раз была раскрыта. Попорхав, потрепыхав крылышками, птенцы сели на жердочке. Дважды я входил и выходил из избы, а они тихо, скромно сидели.

Что случилось? Я вышел во двор и увидел на березе ястреба. «Ах, вот оно что». — Тогда я сильно хлопнул в ладони, будто бы выстрелил, шугнул незваного гостя, ястреб сорвался с ветки и полетел к лесу. Тут же появились старшие ласточки и щебетом вызвали малышей.

И опять продолжались их стремительные полеты.

У Сергуньки Березина пропал ремень. Солдатский ремень. Брат Василий подарил, когда нынешней весной вернулся из армии.

Ах, какой чудесный ремень достался ему, растяпе. Весь кожаный, лента широкая, с изнанки гладкая, о гимнастерку натерлась, снаружи шероховатая, без единой дырочки. Совсем они не нужны тут, эти дырочки, когда бляха есть. Бляха медная, огнем горит. В центре ее пятиконечная звезда, вся-вся в мелких лучиках, а в середине звезды — крохотный серпик, а на него как бы положен молоточек.

В лесной деревеньке Лотково ни у кого из ребят нет такого ремня. Шагает Серега улицей, короткие светло-синие штанишки, их почему-то приезжие городские ребята шортами называют, крепко и ловко опоясаны ремнем. Два солнца сверкают: одно на небе, другое у Сереги на животе. Кто ни попадается навстречу, сперва зажмурится, потом улыбнется:

— Да чей же это такой складной солдатик: настоящая пилотка, настоящий ремень? Ты, Серега, что ли?

— Я-я... Ремень Васятка подарил. И пилотка его. А бляху я сам драю: сперва бузиной, а потом вязаной варежкой. Вот она всегда и новенькая.

— Умник.

Думалось: вот скоро он пойдет в школу и подпояшет брюки армейским ремнем. Кто-то обязательно увидит и спросит: откуда, мол, у тебя солдатский ремень. Ответит, не гордый человек, старший брат подарил. В ракетных войсках служил. В походах, на ученьях, на стрельбах был этот ремень. Теперь мне достался...

Сергей вздохнул и вылез из-за стола, так ничего и не поев.

— Достался!.. Ха!.. — вслух передразнил он себя. — Дураку достался — посеять такой ремень!

Что брату скажет, как в глаза поглядит.

Хоть бы мать поскорее пришла с вечерней дойки. Мо-

жет, она убрала? Нет-нет. Все в доме перерыл. Все! Как провалился. На сенник слазил, в чулан заглянул — и там пусто... Ну, куда, куда же он делся?

Сергея прошел в летнюю комнату и лег на раскладушку рядом с кроватью брата, вытянулся, несколько минут лежал на спине, перевалился на бочок, согнув ноги в коленях, и тут неожиданно подумал: «Может, его Васятка взял? Ремень. На комбайне работает, рожь косит, пылищи там, вот он для удобства по-солдатски и оделся... Э-эх». — Обрадовался, сразу успокоился и скоро уснул.

Мальчишке приснился военный сон: бежит будто бы он по березовой аллее, дорожка песочком посыпана, за березами слева и справа танки, бронетранспортеры, ракеты, а он бежит, а куда бежит — не знает. Конечно, по делу. Вдруг навстречу идет майор Комлев, то есть тот самый командир батальона, у которого служил брат Василий. Останавливает.

— Боец Березин, почему не по форме? — голос строг, взгляд карих глаз холоден.

Сергей скользнул рукой по поясу, а ремня на нем нет. Боится поднять свои серые глаза на командира. Что делать? Кто выручит? В пот ударило.

— За нарушение уставной формы... два наряда вне очереди.

— Есть два наряда вне очереди...

Хотел козырнуть, а и пилотки нет.

...Тут Сергей проснулся, а перед ним брат Василий: свежий, бритый, русые волосы мокры.

— Ты уже искупался? — удивился Сергей.

— Успел, как видишь. Здорово вчера поработали. Зайцевское поле все выкосили.

— А ты... ты, — замялся Сергей, — был в гимнастерке?

— Нет. А что?

Не выговорились эти слова, никак не смог Сергей сказать брату, что потерял его солдатский ремень. Глаза зашипало.

Василий поглядел на посмурневшего брата, все понял, вышел в сенцы и тут же вернулся со своим ремнем. Ста-

раясь не улыбнуться, стараясь быть строгим, сказал:

— Чего ни разу не делал этот солдатский ремень, так это не хлестал по заду таких молодцов, как ты. А стоило бы.

— Где нашел, Вась?

— Где? Где оставил: на ольховом сучке, у реки.

Сергей вскочил, крепко обхватил теплыми руками за шею брата, прижался своей еще сонной щекой к холодной щеке Василия.

КАТИН КУСТ

Было это в конце августа прошлого лета. Катя и ее дедушка Степан отправились за грибами; набредали и на боровики, и на подосиновики, и на грузди. Знал дед заветные места, знал!

Обратно шагали усталые, но довольные, особенно Катя: нагрозили корзины.

— Пить хочется страсть как, — сказала Катя.

— погоди чуток, вот выйдем к ручью Кичёмке и попьешь.

— У вас даже у ручья есть имя! — удивилась Катя.

— Как же. Каждый омут на речке Покше имеет свое имя. Каждое поле. Даже родники с именами... И леса, и луга, — дед придержал ветку ивы, пропустил внучку вперед. — Ну, вот и Кичёмка. Пей, водица в реке лесная, душистая.

Катя сомкнула пальцы, ладонь выгнула лодочкой и стала черпать воду из ручья Кичёмки, пила, чмокала, нахваливала. А как разогнулась, так сразу и увидела куст дикой черной смородины. Без ягод: какие птицы склевали, какие осыпались.

— Дедунь, а лесная черная смородина вкусна?

— Очень вкусна. И куда ароматней садовой... А-а, вот почему ты спрашиваешь. — Тут и дедушка увидел куст.

— Давай выкопаем два-три прутика и посадим у нас в огороде.

— Это можно. Как раз подходит сезон посадок. А коли приживется, назовем его, куст черной смородины, Катин куст. Не возражаешь?

...Так они и сделали. Катя уехала в город Кострому. Учиться. В пятом классе и во втором классе. Как же так? Да очень просто: в обычной школе — в пятом классе, где много-много разных предметов, и во втором классе художественной школы, где ее учили рисовать.

Учеба шла долго-долго — и осенью, и зимой, и весной. И закончилась — каникулами.

Катя приехала к бабушке Степану. Поставила вещишки в сенцах, выскочила во двор, весь солнечно-золотистый от одуванчиков, и спросила деда Степана, строгавшего доски на верстаке:

— Ну, как наш куст? Куст черной смородины?

— А-а... Катин куст? Жив... Живет. Сбегай, погляди. Значит, не позабыла, — улыбнулся дед.

Катя ни за что бы не признала свой куст — так он пышно разросся, если бы не помнила место: у стены баньки. Все ветки были густо облеплены ягодами, густо-черными, глянцевыми, иные горели от росы на солнце.

— Хорошо растешь! — похвалила Катя свой куст. И сорвала ягодку. Она раздавила ее губами и улыбнулась. — Ароматная, лесная.

ПРИВЕЗИ РАКОВИНУ

С крутого холма речка Покша как на ладони — голубой мягкий простор, чайки, солнце. Вот тут, под старой меднокорой сосной, все четверо и сели кружком.

— Уезжаешь? Завтра? — спросила Катя Нину Шаповалову.

На загорелом лице Нины счастливая улыбка.

— Завтра, — она пяткой почесала босую ногу.

Теперь очередь спрашивать была Зины. И хотя Зина, как и Катя, все знала, но она важно поправила очки с толстыми стеклами и спросила:



— Едешь в «Артек»? По путевке обкома комсомола?

— Да. Но вы, девочки, и ты, Костюня, не скучайте без меня. Я письма вам буду писать. Цветные открытки пришлю. — Нина поймала концы косиц и машинально пыталась связать их на подбородке.

Костюня, Зинин братец, шмыгнул носом, попросил:

— Привези мне с «Алтека» лаковину. Халашо, Ника?

— Привезу, — Нина погладила льняные кудерьки Костюни. — Только ты за это времечко, пока меня не будет в деревне, научись говорить букву «р». Договор?

— Договор! — Костюня протянул руку. Все засмеялись. Тут Нина встала.

— Вы гуляйте, а я пойду. Собираться. Кофточку нужно выстирать и выгладить ленты.

— Сегодня в клубе будут показывать новый фильм... «Чучело» называется. Придешь? — спросила Катя.

— Не знаю... Перед отъездом к телятам хочется сбежать. Проститься, — честно призналась она и улыбнулась.

Она шла по тропинке и вдруг запела: «Телята, телята, телята мои-и...» И сразу вспомнилось ей, с чего это началось... Мама, телятница колхоза, захворала. Лежала на печи и сокрушалась:

«Э-эх, кто-то покормит, кто-то попоит моих телят».

Тут не выдержала Нина, даром что мала — в третий класс ходила.

«Да я, мама, я попою твоих теляток и покормлю. Я!..»

«Ты-ы? — Настасья Григорьевна улыбнулась, закашлялась и, только когда кашель отступил, проговорила: — А знаешь ли как?»

«Да видела, видела, как ты делала. Видела и запоминала. Так я пойду? Можно, мама?»

И она рванулась опрометью из избы. А во дворе сестричка Вера загородила дорогу разведенными руками.

«Куда это? Куда разогналась?»

«В телятник... за маму... Поняла?» — одним духом выпалила Нина, и серые глаза ее сверкнули решимостью.

«Возьми меня! — в голосе сестры, она младше на целых два года, просьба. — А, Нин?»

«Ну, айда! Вдвоем-то веселей».

Сестры наносили сена. Досыта накормили и напоили телят. Потом принялись за их стойла — вычистили, соломки натаскали и постелили. И-и... сами попробовали — мягко лежать! Потом принялись чистить телят — им это нравилось. Сестры шаркали по спинкам и бокам щетками, отдирали от шерстки прилипшие бляшки навоза, отмывали мокрыми мыльными тряпками. Закончив дело, Нина обегала теленка, придирчиво оглядывала, а Вера изумлялась вслух:

«Как новенький! Глянь, глянь, Нина, как с картинки!»

На другой день сестры уже хлопотали в телятнике вовсю.

Настасья Григорьевна перемогла грипп аж к концу второй недели. Пришла на телятник, а там — полный порядок. К дочкам:

«Вот умницы! Вот молодцы-то!»

Кому ж не приятна похвала! Да не от кого-нибудь, а от родной матери! И тогда, зардевшись от румянца, Ни-нушка первой сказала твердо:

«Знаешь, мы тебе будем теперь каждый день помогать».

И они зачастили на телятник. А работы тут хватало: воду носили, корма, чистили стойла. И приучали маленьких пить молоко «с пальцев». Делалось это так: подогреют молоко, окунут в него пальцы и сунут в губы телку-не-смышлелышу. Он и примется облизывать их, а потом сосать — щекотно девчонкам, смеются. А сами — раде-шеньки, что получается у телка. Подучат его так-то, тог-да и соску в губы.

Случилось раз Нине одной управляться в телятнике. А накануне мама привела телочку. Такую красивую: на лбу — белый цветок, копытца желтенькие, на передних ножках вроде бы белые чулочки. Нина сразу влюбилась в нее. И вот эта-то красуля заболела. Лежит на соломе и не встает. К пальцам, окунутым в молоко, не тянется. Часто-часто дышит бочком — углисто-черным.

Присела Нина на корточки, гладит телочку и по лбу, и под шейкой и бормочет:

«Ну, чего ты?.. чего... Вставай, вставай — помогу те-бе...»

Девочка попробовала поднять телочку, не под силу. Тогда она попыталась оторвать передние ноги от подстил-ки, удалось, принялась за задние, опять телочка легла и застонала, жалобно-жалобно.

Что делать? К маме бежать? Но она уехала на станцию за кормами и будет только вечером. Подростерялась Ни-на, почувствовала, что из глаз вот-вот брызнут слезы, прикусила губу. И спросила себя: «А что бы мама, сама мама делала?»

И догадалась: слетала на лыжах на ветеринарный пункт в Сомово, три километра туда, три обратно, и при-вела ветфельдшера.

«Ничего страшного. Желудок засорился», — сказал

ветфельдшер и сделал укол. К вечеру телочка поправи-
лась...

Утро. Чуть дрожит от поречного ветерка лист на березняке. На старой ольхе поет соловей. Стараются. Выщелкивает. Стой и слушай. Его песни никогда не надоедают Нине... Перед горой перекликаются мальчишки — торопятся на рыбалку. Дерет горло, нахваливает ясное утро петух. Нина, босоногая и загорелая, проложила по росяной траве следок к телятнику. Распахнула дверцы и, пошумливая, похлопывая ладонями, выгоняет на пастбище телят. Они коротко, радостно мыкают, устраивают толкучку.

— Пошли! Пошли! Пошли-и! — весело покрикивает на них Нина.

И вот на простор в распахнутые воротца хлынули чернобокие — таких больше, — краснобокие и белобокие телята. Один к одному — как бочата.

К Нининым рукам тянутся на ходу, толкают в плечи и бока телячьи мордочки, будто просят: «Обласкай!» Она гладит их, шлепает ладонями по бокам, шеям и что-то вполголоса говорит, говорит, жмурясь от солнышка.

По дороге к ферме идет тетка Маня Зуева, Катина мама, крупная, добрая и веселая женщина. Лучшая колхозная доярка. Орденом наградили. Катя показывала: на звезде корабль «Аврора» — орден Октябрьской Революции.

Тетка Маня остановилась и наблюдает, как Нина управляет со своей бойкой ватагой.

— Вот так Нинок! Не хуже, чем у Анастасии, у тебя получается! Можно считать, что на нашем телятнике прижился семейный подряд Шаповаловых! А! Хороша дочка у Насти! Так и скажу ей сегодня!

От таких слов (Нина это чувствует) у нее покраснели уши и щеки. А сердце толкается горячо и сильно в груди...

...Ночью ей снится «Артек» и море. Огромное, синее. Она бежит к морю, и вдруг за руку ее хватает Костюня и говорит, твердо выговаривая «р»:

— Привези ррраквину.

— Привезу... Привезу... — шепчет Нина.

БЕЛЫЕ ГРИБЫ

К Витьке Водовозову приехал дядя — моряк Балтийского флота.

На другой же день за столом заспорили племянник с дядей, кто больше грибов наберет.

— Й-я! — шмыгнул носом Витька и поглядел на бабу Марфу: не подкинет ли еще на тарелку маслянисто шипящих оладушек.

— Н-нет, Витек, я. Я! Хоть спорь, хоть нет... Местечко-о выглядел! — Дядя Петя даже прищелкнул пальцами.

Оладушек перепал Витьке, и он, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, пообещал:

— Ну ладно, увидим, дядя Петя! — И к бабу: — Сметанки бы подлила.

— Можно, мужички, можно. А насчет грибов — посчитаем, у кого будет больше, — сказала бабу Марфа.

Они взяли короба и подались за грибами. А за околицей деревни снова поспорили — такой уж Витька! — откуда начинать поиски. Парнишка стоял за Ковальцовский бор, дядя Петя за Сончихинский лес. Спорили, да так и разошлись: Витька — в Ковальцовский бор, дядя Петя — в Сончихинский лес.

Дядю Петю лес удивил тишиной. Тишина такая, что слышно было, как стучало собственное сердце. В ельнике он сразу увидел сыроежку. Пунцовая, края заломлены, в блюдечке роса. И все забыл.

С сыроежки и началось у него. То рыжик срежет, то масленок, то волнуху, то накроет семейство лисичек, а один раз подберезовику поклонился...

Признаться, когда дядя Петя вышел из лесу, он пожалел Витьку: «Озорник, поди, зря пробегал, а будь со мной, не вернулся бы с пустым коробом».

Еще на подходе к избе дядя Петя углядел резиновые сапожки, короб и можжевелевую палочку свежего среза,

На крыльцо вышла бабка Марфа, приложила ладошку козырьком ко лбу.

— Идешь?.. Ну вот и ладно... Думала: не заплутался бы — сколь годов-то не был в родных местах!.. С удачей ли?

— Так точно! — отвечал дядя Петя весело.

Он не спеша снял с руки короб, поставил на крыльцо, сел рядышком и закурил. А самому не терпелось, ой как не терпелось заглянуть, что там у племянничка, у Витьки?

— Где же грибочок наш, Марфа Ивановна?

— Да где ему быть? На речке... Слышь? Слышь, верещит поросенком? Это он с вышки прыгать будет, окаянный!.. Вкопали в берег козлы, на козлы положили доску и сигают с трехметровой высоты... Станем пенять, а они нам: на космонавтов готовимся... А верещит это он так, для вида, чтоб все, кто на речке, глядели и хвалили: вот, мол, тут какие храбрецы... — Бабка Марфа сняла руки с фартука, хитреца расплеснулась в глазах. — Ну, так посчитаем цыпляток?

— Пожалуйста, — засмеялся дядя Петя.

Бабка пододвинула ему Витькин короб, и смех застрял у моряка в горле: короб был полон белых грибов, с толстыми корешками, со шляпками такими золотисто-спелыми, что глаза слепили.

— Колдовство! — первое, что вырвалось у Витькиного дяди.

— И-и, Петя!.. В колдовство-то уж и я не верю... Все честно... А ну-козь, кажи свои.

— Пойду, пожалуй, искупаюсь...

Моряк видел, как лучилось морщинистое лицо бабки Марфы, когда она сняла березовые веточки с его короба.

Витька был на речке. Раздеваясь, дядя Петя небрежно спросил его:

— Как это тебе удалось наломать столько белых?

— Как? Да ведь я здесь живу!.. Ну, дядя Петь, кто дальше занырнет? Давайте! — Веснушки так и светились у него на лице.

Нет, теперь дяде Пете не хотелось соревноваться с племянником Витькой.

ПОХОД НА ЛОСЕФЕРМУ

Никому не говоря, я собрался на лосиную ферму. И только сошел с крыльца, Сергунька Березин тут как тут.

— На ферму, Михаил Петрович? В Журавкино? Возьмите с собой.

— А дед Степан не заругает?

— Не-не! Я ему грибов на солянку собираю.

— Ну, если так... Собирайся! Да поживей.

— Да я готов.

— А грибы во что будешь брать?

— Пакет в кармане. Кепка на что!

Мы за избу, и собака Белка за нами. Бежит, высунув язык. Жарко, солнечный денек июля вовсю располыхался.

— Вернись, Белка, лоси не любят собак, — сказал я. И строго: — Зовут — не идешь, не зовут — ты тут как тут. Вернись, кому говорю!

Не послушалась.

— А что еще не любят лоси? — спросил Сергунька.

— Табак. С папироской протягиваешь лосю ломоть черного хлеба — не подойдет. Ни за что! И духи ему не нравятся. Так и фыркнет сердито на того, от кого духами пахнет... Еще шума, гама людского не переносит. И, конечно, обмана. Зовешь, к примеру, и делаешь вид, что будто бы угощение у тебя в руке, а рука пустая, обидится, больше не подойдет, не жди.

Сергей серьезно сказал:

— Кому же понравится обман.

Прошли поле, поднялись затененной тропинкой на гору Катаиху. Сели передохнуть.

— Михаил Петрович, а когда лосей из загона выпустят, не разбегутся они — в лес, на болото, на речку? Ведь на свободе им лучше?

— Видишь ли, дружище, в чем тут секрет: как раз леса-то, болота или там реки у них никто и не отнимает. Гуляй, пасись, встречайся с дикими лосями. Люди с фермы, лосеводы, им вроде бы родня. Кто поил-кормил и на ноги поставил? Кто ласкал? Человек. Ты ведь другу своему не изменяешь? Вот. И лось — также. Понял? Шагаем дальше.

Попили из лесного ручья, Сергунька даже умылся, поднимаемся на гору. Позади осталась деревенька Журавкино.

Пришли мы на опушку леса, тут загон. Крикнул я лосеводам Леше и Галине Николаевне, никто не отозвался, не вышел. Может, они увели стадо в лес на пастьбу и понапрасну мы с Серегой топали три километра, взбирались на гору Катаиху, лезли по трясине, поросшей жесткой осокой.

Открыли ворота, прошли к деревянному лосятнику с покатой крышей, заглянули в сарай. На земле — три огромных серо-бурых валуна, а как пообвыклись у Сергея глаза к сумраку, он оробело прошептал: «Лоси».

Лоси лежали по-домашнему, важно, спокойно, просто, не касаясь друг друга ни спинами, ни головами, ни ногами. Эта тройца нежилась в холодке, а все стадо, видать, в лесу.

— Какие у них мохнатые ресницы... И глаза голубые, — зашептал Сергей. — А что это они жуют? Никакого корма нет, а они жуют? — удивился он.

— Жвачку. Старый корм перетирают. Паслись, так торопились.

Тут и Белка объявилась, но на всякий случай — попало уже — жалась к моим ногам. Крайний лось, по имени Пилот, повернул к ней голову, сердито фыркнул, но подняться поленился.

— Серчает! — удивился Сергей.

— Мешаем, потому и серчает. Айда маленьких поглядим.

Весь табунок лосят из старого домика перевели в крайний загон. Сарай у них просторный, а вместо окошек — прорези с наклонными лотками и обрешеткой. Это чтобы корм не выпадал. В кормушках — пучки иван-чая, калужницы, сочных осиновых веток.

Мы заглянули в сарай. Все лосята, светло-оранжевые, с точеными головками и ушками, лежали на соломе.

— Я хочу погладить лосенка, — сказал Сергей.

— Заманчиво, да, видишь ли, тут распоряжаюсь не я. Спрашивай разрешения у них, у лосят.

Он принял это всерьез и открыл было уже рот, но вдруг крайний лосенок как вскочит, как кинется с ходу на Белку, как взовьется перед ней свечкой, как заколотит передними ножками. Белка — ходу, лосенок, всхрипнув, за ней. Да так и гнал, гнал до самой калитки.

— Какой смелый! — ликовал Сергей.

— Умеет за себя постоять. Его Соколиком звать. По-знакомься.

— Здравствуй, Соколик. Погоди же, угостись!..

Но недовольный Соколик протрусил мимо, не обратив внимания на протянутый Сергеем ломтик ржаного хлеба.

ВСТРЕЧА НА ТРОПЕ

Лосиная ферма осталась у нас позади. Мы шагали тропой, наискось разрубившей ячменное поле.

— А зачем эта лосиная ферма? — спросил Сергей.

— Как — зачем? Интересно же знать, как живет лось, что он кушает, что ему нравится, а что — нет... Вот лосих на Журавкинской ферме впервые в нашей стране, даже впервые во всем мире, начали доить! И они привыкли к дойке. Доят их и вручную, и даже доильными аппаратами. Стаканчики чуть побольше наперстка. Четыре соска у лосихи, как у коровы, четыре стаканчика.

Заходят, к примеру, лосихи Милка и Речка в стойлище, а там для них припасено угощение: овсяная кашка, сырая картошка, пучки молодого клеверка или — проще того — свежий березовый веничек. Можно соли полизать, можно попить. Галина Николаевна, обласкав лесную коровушку, надевает стаканчики на соски, включает аппарат в сеть — и дойка начинается. Как обычно. А ведь подумать только: кого доят — лосиху! Понимаешь — лосиху?! Ну-ка, веками сторонилась человека и вот — пожалуйста! Получите лесное лосиное молочко!.. Ты, Сергей, наверно, думаешь, что лосиха признает только женщину-доярку? За ласку, за материнский подход? Так ты думаешь?.. Ошибаешься, дружище. На Журавкинской ферме так же хорошо, как Галина Николаевна, могут подоить и Леша, молодой лосевод, и Михеев, заведующий фермой.

Электродойка на лосиной ферме! Звучит! Пройдет всего каких-то четыре минуты — и дойка закончена. Лосиху выпускают: иди в лес, пасись. А кабы вручную — и в десять минут не управиться... И у доярки заломит пальцы: соски-то крошечные, а тугие...

Искося гляжу, какое впечатление произвел мой рассказ на Сергея, а у того зеленый глаз зажегся хитрецей: вот-вот задаст каверзный вопрос. Так и есть:

— А на дойку их, наверное, на веревочке ведут?

Подковырнул, называется.

Я рассмеялся:

— Еще не свили такую веревку, чтобы лося удержать. Сами, дружок, приходят. Бегут даже. Галина Николаевна вызывает их из лесу обычным... пионерским горном. Да-да. Или применяет другой способ: включает через усилитель магнитофон, где записана дойка со всеми ее звуками — вот струйка молока звонко бьется о подойник, вот чмокает губами лосиха, круша картофелину, вот лосиха глубоко вздохнула: «ы-ых-х», вот тряхнула головой — и жаворонковой трелью отозвался колокольчик... Лосиха чутко слышит человеческий голос на расстоянии двух километров, а тут, уловив магнитофонную запись, обма-

нывается, принимает все всерьез, думает, что дойка уже идет, а она опоздала на нее, и мчится на ферму во весь дух... А ты, Сергей, толкуешь о какой-то еще веревке! Да разве тебя в школу на веревке водят? Сам ведь идешь. Сам! Учиться-то ведь всегда интересно. А лосиха, считай, тоже новую школу в своей жизни проходит, и ей это интересно.

— Михаил Петрович, а вы пили лосиное молоко?

— Пил, и не раз.

— Какое оно?

— Густое-густое, как сливки, и жирное. Раза в три жирнее коровьего молока.

— Сладкое?

— Как сказать... вкусное. А если хорошенько распробуешь, покажется солоноватым. У лосихи какой корм — молодые побеги сосны, ивовые ветки, таволга, калужница, кипрей, грубый корм. Она и грибы ест. Даже мухоморы. Лечится ими. А главное, Сережа, лосиное молочко-то не простое — волшебное.

— Волшебное?

— Ага.

— Расскажите. Чем же оно — волшебное?

— Первыми лосиным молоком заинтересовались медики. Из Ярославля. Изучали. Долго. Старательно. Осторожно. Очень им хотелось знать, нельзя ли лосиным молоком людей лечить. Вот тут-то оно и выдало свой секрет, что вовсе оно не простое, а, можно сказать, волшебное. Да, да. Слушай. Есть такая болезнь: язва желудка. И навязчивая и неуступчивая эта болезнь. Уколы, операции, разные лекарства... что только не применяют врачи, чтобы ее выгнать. И вдруг, оказывается, что лосиное молоко...

— Лечит язву?

— Да, да... Представь себе больничную палату. Утро. Открывается дверь, и сестра несет больному не шприц с растворами для укола, не горькие таблетки и разные там микстуры, а обыкновенную домашнюю чашку, а в ней — лосиное молоко-о!.. Ароматно-ое! Вкусно-ое! Лесное! Зна-

ешь, как больные встречают такую медсестру?.. Улыбками, шутками. Просят добавки! Вот, дружище, к какому пришли открытию! Двадцать — тридцать деньков попьет его человек и — здоров. Я знаю таких людей, которые уже вылечились лосиным молоком... И ты знаешь!

— Я? — Сергей даже остановился от изумления.

— Ты. Шагай, шагай.

— Неправда! Выдумываете! — горячо запротестовал он.

— Хорошо. Помнишь, к нам в деревню, ко мне, приходил высокий-высокий дяденька? Дяденька Васо, помнишь? Он еще тебе велосипед помог починить?

— Помню.

— Так вот он, дяденька Васо, начисто выгнал язву из желудка только лосиным молоком.

— Вот бы мне попробовать... Хоть глоточек. Один глоточек... Можно? — голос Сергея задрожал от волнения.

— Сегодня — нет. В другой раз, когда придем на лосиную ферму, обязательно попросим у тети Гали. Угостит.

Неожиданно Сергей заскочил наперед, развернулся, раскинул руки, загородил мне дорогу.

— Погодите... Пойдите, Михаил Петрович! Как же это, не пойму, молоко в такую жару возят от нас в Ярославль?! Да оно три раза скиснет! Берут на ферме молоко, а привозят кефирчик?! А?

— Правильно говоришь. Все так бы, по-твоему, Сережа, и должно было быть, кабы речь шла о коровьем молоке. А ведь у нас — лосиное. И мы теперь знаем еще одну его тайну: долго не скисать.

— Может, скажете, три дня? — он усмехнулся и стегнул себя по голому плечу, сбив овода.

— Три мало! Семь — восемь суток не скисает...

— Ого-о! На поезде можно от Москвы до Владивостока довезти, и будет еще свежее!

Мальчик погладил Белку, угостил ее печеньем и, когда мы снова пошагали, вздохнув, спросил:

— Как думаете, кончу школу, возьмут меня на лосеферму?

— А почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил

я. — К тому времени, думаю, таких лосиных ферм будет у нас уже много. И лосеводы, конечно, потребуются.

Вдруг в низинке из ольховых кустов выступила лосиха и этой же тропой подалась навстречу нам.

Ячмень невысок, но густ, с крупными желтыми и зелено-желтыми остями, лосиха в нем казалась особенно высокой и просматривалась вся-вся: от резко очерченной головы, красивого изгиба шеи до выпирающей холки, от белесого упругого подбрюшья до бабок тонких светлосивых ног.

Мы шли к лосихе, а лосиха к нам, не зная, чем же закончится эта встреча. Тревога, неожиданность, любопытство, радость охватили нас. Красивая, сказочно красивая лосиха, освещенная вечерним мягким солнцем, как бы притягивала нас к себе. Уже можно было видеть ее глаза, строгие и по-матерински печальные, маленькое вымя с сосками.

Только что первой бежала Белка, теперь она добровольно уступила это место Сергею, и не зарычала, и не облаяла лосиху. Сергей глядел на лосиху во все глаза и шептал восхищенно:

— Какая же ты большая и красивая. Мы не тронем тебя. Не бойся.

Расстояние на тропе между тем сокращалось, и неминуемо кому-то нужно было уступить: или мы должны были пропустить лосиху — или она нас.

— Ее Находкой зовут. На ферме она уже бабушка! Умнецкая лосиха! Как раз ее первой из лосих и начали доить на ферме.

— Находка!.. Находка!.. — повторил Сергей и протянул к ней обе руки.

Лосиха, услышав свое имя, остановилась. Шумно вздохнула, раздув ноздри, но почему-то передумала встречаться с нами. Развернулась на тропе и легко побежала по полю.

✓ Поле, бегущая по полю лосиха, лес, низкое солнце, синее небо и предвечерняя тишина кругом. Мы стояли дол-

го, принимая в себя эту красоту. Потом Сергей вздохнул и сказал:

— До свиданья, лосиха. Я еще приду к тебе. Можно к тебе прийти?

ПЕТУХИ

Деревня без петуха, без его разгульного, летящего далеко-далеко окрест «ку-ка-реку» — не деревня. Все есть: работа, тишина, вода из колодца, тропинка, промятая в снегу, горячо накаленная печь, топленое молоко, но, коль нет петуха, ощущение деревни не полное.

Голосистый, задористый петух всегда нужен. Нужен и для первого кукареканья... И для второго... И для третьего... чтобы дать знать хозяйке о времени... Чтобы напомнить загулявшей дочке или сынку — пора домой.

Вот и в нашей деревне петухи в чести. Им достаются хлебные крошки со стола, им сыпят горстецу-другую ячменя или овса. И для них, певунов, а не только для коров, телят, овец, ладятся теплые мшаники.

Я ни разу не видел, чтобы петух, получив угощение, принялся, не мешкая, насыщаться сам. Нет, он всегда созывал своих подружек и зорко, бдительно стоял на страже, пока не склевывался корм.

Но нередко и ссоры меж соседями, коль петухи задутся забияками. О-о, как они соперничают! На шее вдруг встопырчивается воротник, поднимаются и грозно хлопают крылья, когтитися земля, гневом загораются глаза, выпячивается бойцовская грудь; соперники сходятся в стремительных прыжках, сшибаются, расходятся... Хитрят. Опускают головы к земле, окручиваются на месте, и после малой передышки вновь закипает драка.

Петуху, выпестованному бабкой Марфой, нет соперника: в трех дворах рядом, увы, не держат кур. А он задира. Боек. Строптив. Силенки играют, а сразиться не с кем. И стал кидаться на ребятишек, а как отработал приемы на них, переключился и на взрослых, особенно на

женщины. Гонится, подпрыгивает, хлопает крыльями, клюет икры, даже запрыгивает на взгорбок, на плечи. Гроза грозой... И каждый раз такое кто ж терпеть будет?

Попрекать бабу Марфу стали, советовать:

— Ты своего хулигана суток на пятнадцать посади... В клев, в темноту, авось поумнеет.

Дело дошло до того, что однажды он изловчился и пребольно клюнул бабу Марфу в щеку.

— Ну ладно, идол, ладно, я тебя накажу.

Знать бы петуху, какая гроза нависла над ним, примирить бы, хоть на время, пока щека у хозяйки не заживет. Она каждодневно мазала ранку облепиховым маслом, глядишь, и миновала бы его беда. А он продолжал озоровать, силы, видно, некуда было девать.

Бабка Марфа сходила к давней подружке в деревню Демидково и вернулась оттуда с петушком и курочкой. В отличие от своего, бело-золотистого, этот был в красновато-коричневом оперении, с черными до изумрудности серпами хвоста, высок, хоть и молод, а курочка круглая, рябенькая. Посадили их в большую клетку, в которой кроликов когда-то держали. Там и кормились, привыкали. Через недельку новоселов стали выпускать на волю.

Вот тут и запылала междоусобица! Старый петух крепко и часто, на дню по три-четыре раза, бил молодого. До крови расклевывал гребень, рвал и кровянил серьги, выдирал перья. Тот сопротивлялся, дрался отчаянно, но (силы были не равны) проигрывал сражения и бросался наутек в сад, в проулок, в ольховый лесок, благо что он был рядышком.

Грозу разрядила и мир во дворе восстановила бабу Марфа: изловила старого драчуна и отрубила ему голову.

— Принимай хохлаток и живи по-умному, — так сказала хозяйка молодому петуху.

Тот быстро освоился. И, к удивлению бабушки, стал высокомерен, заносчив и драчлив. Надо же!.. Без хворостины никто во двор не заявлялся.

Бабка изумлялась. Бабка негодовала. И разводила руками:

— Ну, не бесы ли! И как это к вам драчливость пристает?! Ведь птица же!.. Смо-о-три-и... И ты у меня допрыгаешься до чугунка.

И однажды пришла с жалобой ко мне.

— Михайло Петрович...

Я сразу догадался, в чем дело.

— ...небось сам видел, сам слыхивал, что мой молодой петька вытворяет? Как с ним поступить? И этого зарубить, что ли? Подскажи, пожалуйста.

Говоря честно, у меня не было ответа. И все же я рискнул, заступился за петуха.

— А ты, Ивановна, приучай его строгим голосом: «Нель-зя-а!.. Нель-зя-а!..» Собака ведь это слово понимает, может, и петух образумится. Молодой ведь еще.

— Ладно. Попробую.

Не только бабка, но и ее внук Витька и его дружок Сергунька Березин гремели теперь:

— Петька, нель-зя-а!!!

К бабкиному изумлению (и моему тоже), петух правильно воспринял слово «нельзя» и хоть посверкивал круглым рубиновым глазом, шаркал ногой о землю, но нападать не нападал.

А к середине следующего лета он проявил себя молодецки. Вот где пригодился ему бойцовский характер! Дом бабки Марфы крайний, и сразу за трехрядной поленицей ольховый лесок. Любили несучки копошиться возле поленицы. Это и заметила лиса. И — залегла. Под кустом.

Долго выжидала. И вот привел петух стадо на любимое местечко, цокнул, как бы разрешая искать корм, а сам остался настороже. Лиса изготовилась, напружинилась к прыжку, но неожиданно задела хвостом старую высохшую ветку... И петух опередил ее: с гневным клекотом в горле взлетел и — на хищницу. Угодил ей прямо на загривок, вцепился когтями и зло долбанул клювом в нос и при этом хлестко ударил крыльями по остроносой морде. И — еще. И — еще раз! Такого яростного натиска лиса не ожидала.

На шум залаяла собака. Пришлось лисе проворно удирать. Не удалось полакомиться курятинкой.

И на той же неделе приключилась с бабкиным петухом другая история, только мирная. Героем опять-таки был он.

Кипел горячий сенокос. Высушенное на солнце звонкое и ароматное сено доставляли к сараю на «носилах» — двух заостренных, гладко обструганных сосновых жердинах. И из общей кучи сено вилами подавали на сенник.

Как и когда бабка посеяла ключи из кармана передника, не помнила.

— Были, — божилась, — и пропали. Ну где, где я теперь буду искать их?

Все мы знали, что ключ был не один, а два: от избы и от погреба, еще по весне набитого снегом и славно служившего холодильником. Оба ушка соединялись белой веревочкой. Белой, теряла уж те ключи Марфа Ивановна.

— Пропали! — искала сама. Искали внук Витька и Сергунька Березин... Всю дорогу от лужка до двора стро-го просмотрели. Пусто.

Петуха никто не просил искать бабкины ключи. Угломонились люди во дворе, и вывел он кур покормиться. С сеном нанесли мошек, букашек, зазевавшихся кузнечиков. Загреб петух из-под лопуха когтистой лапой клочок сена и откинул на середину двора. Звякнули ключи о камень. Витек услышал и смекнул, в чем дело. И уже через минуту, как ловкий фокусник, вращал на указательном пальце бабкины ключи.

— Нашел?! — охнула она.

— Не я, баб, не я... Петька-петух.

— Надо же! — всплеснула руками бабка.

КУПАНИЕ КОНЯ

Вдосталь выкупавшись в речке Покше, они лежали, блаженствуя, на песке, и солнце обжигало их плечи, спины, ноги; песок, просыхая, осыпался, приятно щекоча

кожу. Было тихо, лишь на взгорье шелестела листвою осина, да время от времени в прибрежном леске резко, тревожно вскрикивал дятел «влип-влип... влип-влип», словно бы и на самом деле он влип в какую-то неприятную историю. В прогретом воздухе витали запахи лугового сена, спелой, томленной земляники, ивовых листьев, речной воды.

Лень было двигаться, разговаривать, и только изредка кто-то хлопал себя по руке или ноге, сшибая овода.

И вдруг вся полуголая ребятня, как по команде, очнулась, насторожилась. Кто-то крепко и красиво бил и бил по земле. Удивительней всего было то, что этот четкий топот близился, надвигался и надвигался на них, пока кто-то не вскричал восторженно:

— Да это же ко-онь! Конь!!!

Вся ребячья ватага разом вскочила и замерла в ожидании необыкновенного.

Ошибки не было: из-за ольхового островка на их поляне разом показался конь, крупный, гнедой, с лоснящейся на солнце гладкой шерстью, голова его была игриво приподнята, будто он сознавал, что красив, и всюю старался показать себя; на коне до обидного просто, без кавалерийской выправки, сидел пожилой пастух Стожаров, ноги его, обутые в старые кирзовые сапоги, болтались пониже округлых конских боков.

Седок направил коня к ребятам. Спешился. Поздоровался. И хриплым голосом попросил:

— Ребятки, искупайте моего коня и нацедите баклагу ключевой водицей.

— Будет сделано! — опередив всех, твердо отчеканил Витек Водовозов, бронзовый от загара, плотный крепыш; из рук в руки приняв поводья, распорядился: — Сереж, Васек, на ключ! А ты, Алена, постирай дедуле портянки... Мыло у камня, под лопухом. Живо у меня! — тон у Витьки был старшинский.

Сергунька и Васек помчались к ключу. Дед Стожаров, разувшись, поразмял ноги, пощурился на солнце, снял рубаху, под левым соском у него был багряный рубец (все

дѣревенские в Лоткове знали: осколком мины полоснуло, два ребра покорежило), боязливо забрел в реку и ополаскивал, счастливо постанывая, лицо, грудь, живот. Вскрикнул: «Студена! Ой, студена Покша!.. И как только вы терпите».

— Привыкли, — с готовностью отвечал Витек пастуху. — Ни одна корова, ни одна овца не убежали?

— Не-е... На Лежанке отдыхают.

Тут конь легонько толкнул Витя в плечо, новый, счастливый его хозяин все и без подсказа понял: завел в реку, разнуздал, дозволил напиться. Конь пил шумно, жадно и долго. С его губ, когда он отрывался передохнуть, в речку падали золотистые капли, потревоженная вода успокаивалась и снова превращалась в зеркало, которое отражало и огромного коня, и Витьку, и небо...

Аленка, отойдя от купалки вниз по течению метров на пятнадцать, стирала дедовы портянки, волосы то и дело падали ей на лицо, и она, качнув головой, откидывала их назад.

Вернулись с водой Сергунька и Васек.

Витек терпеливо подождал, пока конь не напьется, потом закинул поводья ему на шею, чуть подал вперед, отступил в сторону и, сложив ладони ковшиком, плеснул на коня. Легкая дрожь пробежала по могучему крупу коня; тут вся ребятня мигом оказалась в речке, и на коня обрушились потоки воды. Он стоял смирно, весь сверкающий и загадочный, купание явно нравилось ему. Ребята вскрикивали, пуще старались, не забывая при этом и себя, окунались с головой, поливали друг друга... Так прошло несколько минут, пока Витек не хлопнул коня по боку и не очутился у него на спине.

— Вперед-ед, Лютик!.. Вперед! — ударил пятками в бок, уцепился за гриву, конь качнулся и, как огромная груженная лодка, медленно, осторожно поплыл. Только голова, грива и хвост были наверху, и непонятно, как Витек умудрялся сидеть на коне да еще и управлять им.

Дед отдыхал под кустом. У его ног сушились портянки, разостланные прямо на траве.

Конь обвыкся и уверенно переплыл речку, тогда Витек завернул его. Конь плыл к ребятам, и они встречали его ликованием... Качнув на берег порядочную волну, Лютик с ходу выскочил на твердь, сильно страхнулся и резво, трубно заржал. Река далеко и долго несла его голос вверх и вниз, колыхался он, затихая в леске и поле.

И тут у каждого из купальщиков, хоть и скрывали друг от друга, заныло, запросило сердечко — прокатиться бы! Так хотелось!

Дед Василий Иванович сел. Он поглядел на сорванцов и все понял. Подмигнул им выцветшими синими глазами. Сказал с улыбкой:

— Пока портянки сохнут, разрешаю. Ты, Виктор, стало быть, за старшего... Только недалече. До обломленной ветлы... До овсяного поля. Понял?

— Ага... Слушаюсь! — Витек по-солдатски поднес ладонь к виску. — Там у нас вяленая сорога есть, деда... У меня под рубашкой. Серега, подай. — Тут Витек (он сидел на коне) босыми пятками тронул бока Лютика. — Впе-е-е-ред! — И умнейший и красивейший из коней, к зависти Васюни, Сереги и Аленки, мигом унес их верного дружка. Топот копыт отдавался на рыбацкой тропе. Как расчудесно били эти копыта по земле, даже струение реки притихло, даже птицы приумолкли, чтобы слушать перестук конских копыт.

Вторая очередь была у Сергуньки. Он сиял, но и волновался открыто, отчего покусывал губы и веснушки на щеках шевелились. Все втроем подсадили его, Сергуня натянул поводья и тонким голосом крикнул: «Н-но-о!» И — поехал. И не сверзился, хотя до этого на коне никогда не сидел.

А когда Сергуня вернулся и соскочил с коня, тут, в их обжитом лагере, оказывается, разгорелся спор. Между Васюней и Аленкой: кто из них раньше сядет и поедет на коне. Мирил Витек, мирил дед Василий, но ни одна сторона не желала уступить.

— Вась... Вась... я ведь маленько... Я ведь только на

этой полянке покручусь и сразу уступлю коня тебе, — просила Аленка.

И Васюня сдался. Уступил. Но когда пришла его очередь, шибко заробел.

— Давай, давай, чего же ты! — Витек по-братски нагнулся, велел забираться на свою спину, а уже со спины садиться на коня. — Ну, чего топчешься, поживей, говори! — приказывал он Васе, а Аленка тем временем с одной стороны, а Сергуня с другой — держали Лютика за уздечку.

Наконец Васюня уселся. И удивился:

— Высоко как!

— Держись, поехали! — приказал брат.

Всего-то Васюня и катался ничего, но был безмерно счастлив и принес Лютику два сухарика и квадратик рифленого печенья. Хотел угоститься после купанья, да вот не пожалел для коня.

Дед поднялся, поглядел на часы:

— Пора, ребятки, мне к стаду.

Они провожали пастуха и его коня и долго-долго махали руками.

ПЕС ПО КЛИЧКЕ ШУМОК

— Шума-а!.. Шума-а!..

В этом отрывисто-звонком голосе есть все: мягкая ласка, доверие, обещание. Это голос Сергуньки Березина.

Я пододвинул стол к раскрытому окошку и проверяю тетрадки. День по-летнему солнечный, теплый. Мне не виден Сергунька, но я догадываюсь, что он у сельмага и, наверно, хочет поделиться чем-то вкусным с Шумком. Сейчас Сергунька будет свистеть. Так и есть:

— Фи-ить, ффи-ть, ффи-ть!.. — А за свистом следует повторный призыв: — Шума-а, Шума-а!..

Услыхав голос хозяина, Шумок, где бы он ни был, срывался с места. И вот уже проулком или тропинкой на предельной скорости летит черная крохотулька-торпеда.



Никто не сможет ее остановить или изменить ее направление.

Шумок быстро подружился со мной. Собака чутьем угадывает в каждом новом человеке, друг он или нет, и ведет себя или по-дружески, или враждебно-настороженно.

Шумок видел, что мы с Сергунькой и на речку шагаем вместе, и с речки, вместе удочки ладим у нашего крыльца, покрикивая, подшучивая друг над другом.

В лес идем, и Шумок с нами — свечой взлетает над травой, над шелестящими серьгами овса. Мал пес, а хочется ему знать, что там впереди, и быть готовым на всякий случай.

Случалось, что Сергунька ни с того ни с сего гаркнет: — Бери! Шума, бери!..

И собака, даром что она не охотничья, а самой мас-

совой дворняжьей породы, на миг замрет, вслушается и вдруг дико сорвется с места, прыжками полетит вперед и, глядишь, вспугнет то перепела, то сороку. И резво гоняется за ними, надрываясь от лая.

А вот чего не любил Шумок, так это купаться. Собремся — и он с нами. До Займовской полгоры бежит впереди нас, потом юркнет в кусты, для отвода глаз полагает и затаится. Позовем его: «Шумок!.. Шума!» — глядь, а он уже сзади нас. Сидит или лежит. И всем своим вялым, сонным видом как бы скажет: «Разморила жарница, оставьте меня в покое. Неохота идти дальше».

Тут Сергунька примется медок лить:

— Шума... на, на, на... Иди, Шумик, Шумик... Ну что ты, Шума... Честно, дам... Вот! — И руку в карман.

Ни с места Шумок. Только над глазами две желтые запятые настороженно задвигаются, да хвост постегивает траву. Сергунька — сплошная улыбка. Он возвращается, рывком падает на собаку и, плененную, вздрагивающую, несет на руках к речке, оправдываясь передо мной:

— Зимой Шумка мне отец принес. Вот и не приучил я его купаться... Ну чего рвешься, глупый, жара ведь... Понимать нужно!

Но Шумок не внимает словам Сергуньки, а начинает поскуливать. Тогда босоногий Сергунька прыгает в долбленный челн. Теперь Шумок знает, что неминуемо будет: хозяин раскачает его и швырнет в реку подальше от берега. И будет хохотать — вот что обидней всего! А Шумок, бултыхнувшись, примется сердито вытряхивать воду из ушей и тонкими, как барабанные палочки, передними ногами бить и бить по воде и с вытянутым хвостом станет длинным и жалко-смешным. Попробуй тут плыть на хозяина — снова окажешься в речке. Шумок правит за ивовый куст. На берегу несколько раз с неудовольствием отряхивается и... деру. Даже магический Сергунькин зов теперь не поможет вернуть нам Шумка.

Однажды, обсыхая на солнце после купанья, Сергунька спросил, скрывая в голосе тревогу:

— Собаки долго живут, Михаил Петрович?

— А что?

На спине Сергуньки от тяжелого вздоха выпятились острые лопатки. И я понял его.

— Школу кончишь, а Шумок все будет у тебя. Армию отслужишь и знаешь, кто после долгой разлуки встретит тебя на Займовской тропе?

— Шумок! — Сергунька улыбался.

— Шумок, дружище.

Сияющий Сергунька вскочил и закрутился на пятке...

Шумок провожал Сергуньку в школу. Шли они через луг, через лес. По лаве переходили ручей Кичёмку, потом через поле. У школы расставались. И не раз бывало — Шумок оставался ждать, пока хозяин отучится.

Сергунька в тепле, ему весело: пишет, считает, получает, какие заслужит, отметки, резвится на переменах, а Шумок ждет его. Ждет на ветру. Под дождем. В метель. Забьется под школьное крыльцо и чутко дремлет. Или уляжется под старый колхозный амбар и поглядывает: не выскочит ли хозяин проведать его на переменке, не вынесет ли что-нибудь.

А если Сергунька раньше обычного выбегал с портфелем из школы, Шумок, радуясь, повизгивая, подлетал к Сергуньке и прыгал, стараясь лизнуть его в подбородок или щеку.

— Шума, Шума-а, — ворковал Сергунька, и гладил пса, и подхватывал на руки, и, выразив благодарность за терпение, опускал на землю.

Довольные, что опять вместе, они отправлялись домой, в Лотково.

И вот второй день Шумок ходит в героях. Даже в соседних деревнях говорят о нем, хвалят.

А случилось вот что: Сергунька с Шумком, как обычно, шагали в школу, в соседнюю деревню. В поле паслось совхозное стадо. Ближе всех к проселочной дороге, вскинув морду с мокрым кольцом в ноздрах, стоял громадный бык Лимон, светло-пегий и злой. Сергуньке бы прой-

ти попроворней мимо быка, и все. А парнишке почему-то захотелось отогнать его. Размахнулся и швырнул в Лимона надкушенным яблоком. И попал прямо под кольцо. Лимон рыкнул, хлестнул себя хвостом — и на Сергуньку.

— Шума-а! — успел крикнуть Сергунька.

Шумок сразу понял, какая страшная беда грозит его хозяину. С лаем, весь взъерошенный, рванулся он на Лимона, норовя схватить за губы. То наскакивая, то отскакивая, повернул быка от Сергуньки, шустро прошмыгнул под брюхом и вцепился в заднюю ногу. Лимон взревел и, разъярившись, закрутился на месте, стараясь поддеть собаку на рог.

А Шумок, рыча, взвизгивая, прыгал, увертывался и не отступал от быка. А тот уже позабыл про обидчика, который с портфельцем драпанул в лесок и оттуда звал свою собаку. Услыхав свое имя с привычно ласковым зовом «на, на», Шумок не бросился прямо к хозяину (иначе бы и Лимон не отстал!), а схитрил, сделал вид, что поспешно отступает назад, к стаду. Лимон — за ним. В стаде Шумок увильнул от быка и быстрехонько подался в лес, к Сергуньке...

Вспомнив все это, я выхожу на крыльцо и громко кричу:

— Сергунька-а! — и машу рукой, зову к себе.

Опережая хозяина, на тропу выметнулась черная крохотулька-торпеда — Шумок.

ЯБЛОНЯ СОЛДАТА

Уезжая в город, бабка Марфа наказала мне две работы — приятную и неприятную.

Я начал с неприятной — когда топор и ножовку несут в сад, чего приятного. Значит, что-то будут пилить и рубить в осеннем саду, где уже устоялся покой и глубокое отдохновение от лета, не столь жаркого, сколь переменчивого и дождливого.

Светило ненакалистое, спокойное солнце, день выдался и без ветерка. Редкая удача. На грядке доцветали поздние астры, розовые и белые. Белые, их было куда больше, как бы грозили снегом. По голым веткам яблонь прыгали и перепархивали синицы, остренькими звонкими голосками объявляя, что пришло их время, а время жаворонков, ласточек, иволг давно и надолго теперь кончилось.

Лишь на молодой антоновке еще держались листья, блекло-зеленые и с желтинкой. Держались до первых морозов, до колючих ветров. А какой удивительной предстала лиственница, вся желто-бурая, мохнатая, словно о ее ветви ночью, тайно, почесался линючий медведь и оставил половину шерсти на ветках...

Но я отвлекся — мне предстояло срубить старую яблоню. Я знал ее историю. Перед самой войной ее посадил старший сын бабки Марфы. Ни единого яблочка не удалось Алексею снять со своей яблони: зимой сорок пятого года танкист погиб при штурме Будапешта.

А яблоня, егo яблоня осталась жива; год от года набирала силы и щедро родила. Яблоки, один бок обрызнут розовым с прожилками белого, второй чуть желтоватый, были мягки и сочны. Никто из деревенских не знал сорт этих яблок, но их любили и детвора и взрослые: бабка Марфа раздаривала весь урожай; конечно, и самой ей хватало, ведь в пять-шесть мешков не уместить было яблоки с Алешиной яблони. И не только мы любили их. Даже корова Березиных, когда гнали стадо на пастбище или в деревню, бежала к нашему огороду, подбирала за частоколом падалицу, а случалось (так хотелось ей полакомиться!) срывала с нависшей за ограду ветки шершавым языком яблоко-другое-третье.

Наверное, долго бы жить еще Алешиной яблоне в родной деревне Лотково, угощать всех, кого он знал и кого не знал, но неожиданно в нашем краю объявилась лютая зима, и сорокаградусные морозы сожгли ее. В первое лето еще было несколько живых веток и уродилось десятка три яблок, с пятнами-дробинками и мелких-мелких. Мы

очень ждали нынешнее лето, но на всей огромной яблоне я увидал всего-навсего три листика. К яблочному августу (кто его не ждет!) они сморщились, засохли и оторвались.

Умерла яблоня.

Я обрубал сучья, отпиливал ветки и перекидывал их через забор или выносил во двор к бревнам. Пришлось здорово помаяться, ствол яблони был как железный — отскакивал топор, не шла ножовка.

Я пилил, рубил, а перед глазами все виделась цветущая яблоня, белая-белая под голубым небом, и сердце мое плакало. Посажу новую яблоню и назову ее, как ту, Алешиной, — решил я.

Вторая работа была приятной: я спустил с чердака зимние рамы, протер стекла, положил на каждый подоконник по две карминовые грозди рябины и поставил по две приземистые стопки зеленого довоенного стекла, наполненные до половины солью, чтобы влагу не пускать, и вставил рамы.

И тут же решил выполнить свою задумку. Дед Степан Березин без слова выслушал меня, опечалился лицом, тяжело вздохнул и повел в свой сад.

— Любую выбирай. — Протянул руку. — Славные яблоньки. Сорт — пепин-шафран.

Какое смятение бушевало в стволе, в ветках, в корнях яблоньки, пока я окапывал ее! И как ни осторожничал, все-таки где-то отрубил и оборвал волосок-другой от корешка, может быть, самые чувствительные.

И вот моя яблонька, с зелено-розовой корой, с налитыми соком веточками, бережно вынута из своего родного гнезда.

Я понес ее, стараясь, чтобы при ходьбе не отбился ни единый комочек земли на корнях. «Ты будешь жить. Долго будешь жить, Алешина яблонька... И тебя полюбят ребята и все-все деревенские... Потерпи чуток... Теперь уже скоро», — тихонько приговаривал я и очень хотел, чтобы она поняла меня.

Я внес яблоньку в наш огород, прислонил к серому

ольховому частоколу, схватил лопату и торопливо стал копать землю.

...Когда бабка Марфа вернулась из поездки в Кострому и дошла до своего огорода, она разом, словно загнулась за что-то, остановилась, и вся фигура ее вдруг сникла, а на лице отразились глубокая боль и печаль. Я стоял на крыльце и ждал, не говоря ни слова: сама поймет.

Правый знакомый угол сада был пуст, совсем пуст, так ей, видимо, показалось поначалу, но вот она еще раз взглянула туда, и ее лицо вытеплила короткая улыбка. Дрогнули губы.

— Посадил...

— Не только посадил, а вот и имя ей уже дал: Алешина яблонька. А? Кхе-хе... А справа и вон там слева, видишь? По вишенке. Пойдем, пойдем, сама поглядишь. — Я принял у нее корзину и поставил на крыльцо. — Не простые вишенки, называются вишенки Бессея. В питомнике у лесника Паклина взял. Росту будут малого, а шишко ягодные.

Она облегченно вздохнула:

— Хорошо-о. Это хорошо-о.

Бабка Марфа потрогала сухими жесткими пальцами яблоньку, нагнулась, размяла несколько комочков земли, даже сорвала травинку.

— Вот оно как получилось... — только и сказала. Но я видел, как зарделось морщинистое лицо от волнения, и был доволен, что угодил матери солдата.

КАРТОШКА, ПЕЧЕННАЯ НА КОСТРЕ

Остро пахнет потревоженной картофельной ботвой, ольховым листом и дымом — там и там костры.

Вся деревня на картошке. Как бы ладно ни работал картофельный комбайн (а его нет-нет и забьет сырой землей), как бы ни старались картофелекопалки, а вот и рукам, вооруженным простенькой царапкой, находится дело. В поле с матерями, отцами, бабками и дедами — ре-

бятня. Вся наша школа. Договорились вывести пятиклассников и всех, кто старше, но вот я вижу даже первоклашек: проворно подносят корзины, выбирают, выклевывают пропущенные клубни.

Работа в разгаре.

День тусклый. Щеки и руки пожигает холодок.

Рядышком со мной Витек Водовозов так и пашет царпкой. Но стоит кому-нибудь из ребят крикнуть: «Картошку-чемпиона нашел! В руке не умещается!» — как Витек бежит глядеть то к Сергуне, то к Алене, они по очереди качают в руке огромную картофелину, определяя вес, спорят.

— А ну, а ну, расходитесь, помощнички! — строжит бабка Марфа, но не сердито, порядка ради, понимая, что любопытство ребят в данном случае весьма полезно.

Витек возвращается к своим боровкам и докладывает громко:

— Ничего себе картошечка-а, скажу я вам! Пятьсот тридцать три грамма!

Это уже не первый раз, когда он называет цифру не кругло, а ведь вес определяли приблизительно, на глаз, откуда же быть такой аптечной точности. Витяю это нравится, делает это он с умыслом, пусть знает бабка, какой он толковый математик.

— Выдумщик ты, Витька, — покидывая в корзину картофель, говорит с добродушной улыбкой бабка. — А картошка нынче уродилась. На загляденье добрым людям картошка.

Проехал комбайн, стая дроздов направилась к рябинам.

Время к полудню, и Витек все чаще поглядывает в конец поля, где дорога и березы с охристым, наполовину обитым ветрами листом.

— Наверно, уже поспела, — говорит он.

Мне все понятно: это он страдает о печеной картошке. Бабки Марфин внук в отличие от других ребят печет картошку удачно, с какой-то особенной сноровкой. Другие ребята, спеша и жадничая, кидают картошку в жаркий



костер. Картошка сразу обугливается и получается, если не сгорит совсем, с толстой коркой и горчинкой от дыма. Витек загодя ладит костер, дает ему прогореть, разгреба-ет угли, смагивая слезу, выкладывает по золе и горячей земле не крупную, а среднюю картошку и зарывает ее угольем...

— Переку-урим! — кричит бригадир Терентий, но тут же спохватывается — школьники рядом! — и поправляет-ся зычным голосом: — Перервемся-а!..

Витек, всех обгоняя, летит к своему костру и машет Сергуньке, Аленке, бабке Марфе и мне рукой. Мы подхо-дим к нему, когда он уже успел разворотить угли и па-лочкой-рогулькой выкатывал на траву пропеченные, под-жаристые картофелины.

— Алена, давай соль, — не глядя на подружку, прика-зал Витек. — Кому? Получай, Серега... Теперь — кому?..

Мы усадились в кружок, перекидываем с ладони на ла-

донь горячие картофелины, словно играем в какую-то загадочную игру, но вот Сергуня разломил картофелину, она дохнула парком, славно запахла.

Картошка безмерно вкусна, рассыпчата и свежа, и ешь ее на воздухе; наверно, и это придает немалую толлку вкусноте... Едим по второй, по третьей, хвалим нашего работника Витяя, у которого почернен нос и подбородок. Впрочем, метки и у нас у каждого — не на лице, так на руках.

— Ай, картошечка-а! — почмокивая губами, остужая наполовину очищенную картофелину, говорит бабка Марфа и глядит на внука с удивлением — дескать, кто же тебя научил так печь, — но польщенный Витек перевел с нее взгляд на просторное изрытое поле, где все еще ходил комбайн.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ

Витя Водовозов сговорился со своим дружкой Сережей Березиным сходить на подледный лов.

— Я такие местечки знаю, закачаешься! — обрадовался Серега. — Окуней нахватаем и сорог с твою варешку.

Морозным утром, плотно поев, мальчики вышли на рыбалку. Оба как-то сразу потолстели, покруглели, как медвежата: на Витьке валенки с калошами, меховая куртка и заячья шапка, от левого плеча на грудь — ремешок «баяна» (фанерного ящика), в нем всевозможные рыболовные снасти; на Сереге старый брательников кожушок, суконные ботинки и зеленая вязаная шапочка с кисточкой, а за поясом топорик, с веревочкой на топорнице. В другой раз дружки кубарем слетели бы с Нелидовского увала к речке Покше, а сейчас спускаются степенно: нельзя потеть, на льду мерзнуть будешь. Бывалые рыболовы.

Продрались через серый ольховник к речке Покше и остановились; не признать родную ключевую речку — вся она от берега левого до берега правого упряталась

под лед. Смирная, безголосая. Вверх по течению глядеть — лед, и вниз — то же самое. Да какой ковки лед — молодой, зеркально-блескучий! Местами в него вмерзли кусты бурой куги и рыжие камыши.

— Прокатимся! — Витяй с разгону кинулся на лед и, растопырив руки, улыбаясь, поехал, поехал.

Серёга повторил его бросок, но не удержался на ногах, отвык, рюхой кувыркнулся и покатился на боку, топорик выпал, мелко, нежно дребезжа, волочился на веровочке следом.

Еще прокатились и сразу развеселились.

— Двинем на Мельничный омут, — предложил Серёга.

— Не, дед Степан велел к мосту поближе. Окунь косяги любит, сваи старые, — возразил Витька.

И повел Серёгу на то место, где был старый мост. Когда построили новый, железобетонный, с перилами, старый сломали, а сваи остались. И остались два деревянных, похожих на киль судна, поднятых над водой ледолома. Ножи ледоломов обшиты железными полосами.

— Не чекань ледяшкой, рыб пугаешь, — вполголоса сказал Витя. — Вон где будем ловить. Чур, место выбираю.

Лунку рубили топором. По очереди. Брызгали, разлетались осколки льда, больно секли по лицу. Серёга сунул кусочек льда в рот, причмокивая, сосал и нахваливал:

— Вкусно-о. Попробуй, Витек!

— Ловить пришли, а не забавляться, — строго отвечал Витя. Он ударил топориком со всего маха — в прорубь, вскипая, хлынула вода и успокоилась. И еще две проруби открыли ребята меж ледоломами.

Витек, тронув рукавом, поднял крышку «баяна».

— На мормышку, Серёнь, попробуем. Не будет брать — на мотыля или на хлебный мякиш. Я его промаслил подсолнечным маслом и анисовыми каплями.

Серёга удивился: «Запасливый Витька. А я только червяков взял».

Витек передал удочку с коротким пробковым удильником Сереге, две оставил себе.

Взблеснула мормышка — золотистая капля-жучок с синим прочерком посередке, Витек распускал леску, измерял дно, как вдруг руку отбило книзу. У Витьки дыхание оборвалось, подсек, крикнул: «Есть!» Леска натянулась, задрожала, в три-четыре вымета Витька поднял над лункой окуня; он трепыхался, горбился колючками, по бокам у него расплюснутыми ягодами малины пылали плавники.

— Серёнь, глянь, хорош?

— Сойдет.

Витька снял окуня, отшвырнул на снежок. Окунь-бе-долага подкинулся несколько раз, облепил всего себя снегом и усмирился.

Витька рассчитывал ловить на две удочки, но даже на сошки-сторожки не нужно было ставить удильник. Окуньки ринулись к проруби, на свежий воздух, еще не привыкли сидеть взаперти, хватали мормышку или мотыля с ходу. И Серега подергивал, не зевал.

— У меня еще один окунек! — задорил дружка Витек.

— И у ме-е... — начал было Серега, но осекся, глаза его испуганно округлились: — Повело-о! Витька! Ух, тяжесть! Помогай!

Витька кинулся к другу.

— Это щука. На ходу заглотила твоего окуня. Тише ты! Обрежешь леску об лед. Стерегись и дай ей поиграть.

Серега с побелевшими от напряжения скулами весь подался к лунке.

— Ох и тянет! Как буксир!

Витька уцепился за леску:

— Повели-и! Повели-и!

Щука упиралась. Щука кидалась то влево, то вправо... Ребята, шумно дыша, разрешили ей поиграть и снова подтягивали. Вот уж у самой лунки оказалась разинутая зубастая пасть.

— Попалась! Наша-а! — завопил Серега и в азарте сунул руку в прорубь, намереваясь схватить щуку пониже

головы, но промахнулся и этим испортил все дело. Рыбина дерзко рванулась, леску, как ножиком, перехватило льдом. Витька от неожиданности откинулся назад и сел на лед.

— Ушла-а! И чего ты, Серега, поторопился. Нужно было ее еще поближе подвести.

И в ту же минуту рыбалка померкла. Окунь уже не радовали.

Только дорогой ребята повеселели. А Серега, болтая правым пустым рукавом — он грел руку на груди, — обещал другу:

— В другой раз, Витек, не уйдет. Научила... А большая была щука!

— Да, большая, — «баян», меченный ледяными заклепками, покачивался у него на боку.

ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО

Пока шагаем из школы с одного лесного увала на другой, досыта надышимся морозным воздухом, нагладимся на поля и леса в снегах, намнем ноги, и захочется желанного избяного тепла.

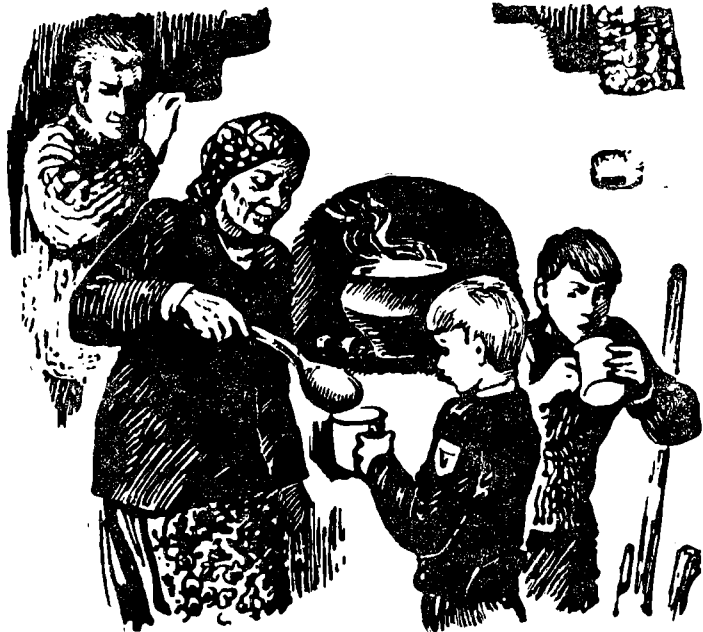
И только разденемся, только Витек с Васей прижмутся руками, щекой и грудью к печи, бабка Марфа, сочувственно оглядев внучат, пообещает:

— Минутку еще потерпите, и согрею вас.

Она втыкает спицу в клубок, проворно всплывает на кухню, за ручку снимает жестяную заслонку, прогоревшую в трех местах и латаную, вооружается самым рогатым из ухватов и, приглядевшись, изготовившись, посылает его в знойную глубину печи. Тут же с шестка взят и подложен под ухват металлический каточек.

Что-то скрежетнуло, потом скрипнуло в печи (уголек раздавился, что ли?), руки бабки напряглись, и вот она что-то повезла из печи, проворно и весело повезла... Мы ждем, молча переглядываемся. Что?.. Что?..

Так и есть: выплывает крутой, красно-засмоленный



бок корчаги, а потом и вся она, огромная, с узкой горловиной и купеческой широтой в центре.

Ребята срываются с места: поближе, поближе к топленому молоку. В корчаге — море топленого молока, хватит на бригаду плотников, хватит на весь школьный класс.

Бабка со всей предосторожностью мудрой хозяйки выставляет корчагу на шесток, ухвату отставка, в угол, как ток откинут. Витек вьюном подает хозяйке деревянную ложку. И тут начинается... Вся горловина корчаги затянута не пенкой, а как бы сгустком самого солнца. Бабка Марфа со словами: «Ну-ко поглядим, люди добрые, как сегодня удалось», — ложкой проламывает золотисто-коричневый слой пенки, и сразу из горловины выбивается парок, изба враз наполняется ароматом топленого молока.

Ребята вскрикивают и подставляют кружки.
— Мне первому-у!

— Мне-е!

— Утихомирьтесь, — строжит бабка и наливает кружки до краев и в каждую щедро спихивает ложкой пенку. — Кушайте на здоровье!

Мы пьем топленое, сладкое и душистое молоко. В нем столько тепла, что мы сразу согреваемся, а бабушка Марфа улыбается, светится. Как же — всем угодила.

БАНЯ

Многим-многим может гордиться наша лесная деревенька Лотково — и речкой Покшей, и хрустально-студеными ключами, и еловыми избами, и лесной тишиной, и рассветами — раньше всех мы встречаем их на своем холме; и, конечно же, сыновьями и дочками, а еще — еще своими баньками. В каждой семье своя. У одних бани поставлены на задах, за огородами, у других, как наша, на половине угора — к ключевой и речной водице поближе.

Бани рублены тогда же, когда и избы, за один заход, и почти из такого же леса — елки, сосны; и не какие-нибудь слепые и курные — основательные: с предбанником, с сосновым залом, с широкими деревянными скамьями по стенкам, с набором маленьких переносных скамеечек — сиди на такой где хочешь, где любо тебе, или ставь под ноги, — с покатым полком по стенке, с каменной-парницей, с печью, в которую вмазан один, а то и два глубоких котла, с оконцем, с чанами, бочкой с бочатами под холодную и горячую воду, с долбленными ковшами и ушатами.

В такой, даже холодной, бане любопытно побывать да ко всему приглядеться, потому что, когда взиграет по твоей воле парок, многие предметы сразу потеряют свои очертания, будут как бы в тумане.

Баньный день — суббота. В субботу мы с Витьком поднимаемся рано-рано — еще московский радиодиктор про себя читает первый выпуск последних известий, — берем

по два ведра (Витек еще прихватывает и коромысло) и носим из ключа и с речки воду, а бабка Марфа — она поднялась еще раньше нас и московского диктора — все промывает, протирает в бане и поощряет каждый наш поход за дальней водой такими словами:

— Жаркую да легкую баньку истоплю вам, мужички. Вернетесь из школы и блаженствуйте на здоровье.

Мы понимающе переглядываемся: первыми бабка, как уже бывало не раз, нас с Витяем пустит мыться, сама же она заявится только в горячую баню.

Над Нелидовским увалом малые дымки — бани топят. Это видим мы все: Витек Водовозов, Алена Сергеева, Сергуня Березин, Вова Бугренков и я, видим с горы Катаи-хи, когда, взяв эту гору одним приступом, останавливаемся под березами передохнуть. Наверно, ребята сейчас представляют своих матерей, бабок: как они закладывают в устья печей просушенные поленья, снимают с шестов и ошпаривают крутым кипятком березовые веники, приносят свежие мочала из лип, печатки туалетного, банного и хозяйственного мыла и ставят в долбленки на подоконники, пробуют силу накала камней, плеща по полковника на каменку, гладят калеными электроутюгами белье — смену...

Мы вернемся из школы без опоздания, все-все, такой наказ.

Витек — сегодня ему тройка за диктант — небрежно кинет портфель на диван и еще попытается включить телевизор, но бабка тут же протестующе крикнет:

— Десять раз видывал этого своего Чебурашку, один раз не поглядишь — ничего не случится. Выключай! Кому говорят! Идите в баню, и так уж заждалось вас тепло.

В предбаннике свежо. Крепко пахнет березовым веником, и паром, и земляничным мылом... С трудом подаю на себя набухшую дверь, лицо обдает резким зноем. И славно, что в предбаннике было свежо — тело постепенно принимает тепло.

Витек, заядлый и терпеливый парильщик, сразу, с прихода, плеснул ковш на каменку, вода тут же с трес-

ком взорвалась и вытолкнулась к полку и в нашу сторону облаком пара. У меня аж уши обожгло, пришлось присесть. А Витек хохочет, хоть бы что.

До потолка, до скамеек, до парного полка, до засмугленной крышки котла рукой не прикоснуться: все огнисто жжет. Витек окатывает полок, вскакивает на него, как на коня, подкладывает зеленый веник под голову и вытягивается, блаженствуя, подсмеиваясь надо мной, или принимается петь песенку крокодила Гены:

Я играю на гармошке-е
У прохожих на виду.
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.

Я же всегда начинаю баню на самой низкой скамеечке, почти что на полу, запасаясь ушатом холодной воды. И все равно уже сошло три пота. Дышится шумно, тело еще грузное.

И не скоро я полезу на полок, где парнишка, удало побрякивая, сечет себя веником, весь малиновый, весь в каком-то исступленном азарте; я открыто завидую его закалке: никакая жара нипочем! Не потому ли он и на холоде вынослив и терпелив.

— Еще ковшичек... Эс-с... Плесните... Михаил Петрович, — просит Витек.

— А обо мне ты думаешь?

— Так ведь знаете же русскую народную: пар косточек не ломит... — Это он говорит, как бабка Марфа. — Плесните. А?..

— Ладно, плесну, но больше — договорились? — не будем нагнетать жару, пока я не вымоюсь.

— Ага-а... О-о-о! — Витек торжествует. — Теперь я уже в тропиках. Вот это жигануло-о!

Витек, конечно, не утерпит, нарушит банный договор, как только я заберусь на каленый полок, а на мой выговор, как обычно, ответит: «Вы вроде кашляли нынешней ночью (это он придумал), вот и будем выгонять хворь».

Все тело в огне, кажется, нет больше терпенья, но терпишь минуту-другую, а потом хватаешься за веник и яростно сечешь себя...

Из бани мы выходим с таким чувством благодатности и легкости, что, кажется, разбежись сейчас — и легко взлетишь над увалом, и полетишь над рекой и лесами, очарованно поглядывая на все, что будет кругом.



НА РЕКЕ

МАЛЕК

Я видел, как чайка ловит мелкую рыбешку: садится на один из камней, белым лбом выступающий из реки Покши (эти камни как раз приходятся на быстринку, на живую струю), и замирает, а хищный, прицелистый глаз неотступно следит за водой, за всей жизнью в ней, и ждет... Вдруг резкий рывок головы — и рыбка уже в клюве, уже высоко поднялась над родной рекой.

Сижу на камне, сверху он теплый, на коленях спиннинг, ноги в рыбацких сапогах в воде. С интересом наблюдаю за рыбешкой. А как много малька! Этакie живые стрелочки снуют туда-сюда. Выждал, прицелился. Рывок. И вот в моей ладоншке малек. Головка, глаз круг-

лый с малиновым ободочком, плавники, хвостик, блестящая чешуйка. Все честь по чести — рыба. Вот только не знаю какая.

Малек разобрался, что пойман, резко плеснулся, вылетел из ковшика и — опять к реке. Вильнул хвостиком и пропал. Какой удалец!

Это же надо — какая немыслимая самостоятельность! Растет без папы-мамы, сам где-то и как-то кормится, сам где-то днюет-ночует, сам спасается от бесчисленных врагов.

Мы и знать не знаем, скольких трудов, забот, хлопот, хитростей, смелости нужно мальку, чтобы вырасти в красавицу-сорогу, в бело-золотистого леща, в сильного, дерзкого язя, чешуя которого, кажется, выкована из серебра.

И как же красива река, в которой плещется, дробя солнце, колебля водой отсвет малиновой зорьки, гуляющая рыба!

СЕРЕБРЯНЫЙ ЯЗЬ

Нет рыболова, которого бы не манила, не грела, не вела через все возможные на реке лишения мечта: поймать сегодня большую и красивую рыбку. Тогда отмахнешься от дождя, стерпишь комариные атаки, будешь стоять, не двигаясь, по колено в воде и час, и два... Велико рыбацкое терпенье!

В этот день и у меня была мечта: поймать язя, да такого, от которого бы сердце сладко запело. Такого, который бы долго-долго помнился и не раз приснился. Я знал, в каком омуте на нашей речке Покше водятся язи. Перед этим местом речка была мелка, убыстряла ход, чесала и трепала водой зеленые косы травы, взбивала пенку, весело пошумлиwała и с ходу влетала в просторный омут. Мель обрывалась глубокой яминой. Вот тут, возле камня, который желто проглядывался в ключевых струях, и дежурили язи: вдруг речка подкинет стрекозу, овода, муху, бабочку, ручейника.



Я приготовил удочку, насадил на малый, плотвичный крючок зеленоватого ручейника и сделал первый заброс, на быстринку. Ручейника без грузила закрутило и понесло. Вот и заветная яма. Поплавок стремительно дернуло и потянуло вперед — взяла верхоплавка. Но так чисто и точно сработала, что пришлось насадить новую наживку.

Я забрел в воду, и вот новый заброс — на живую пенную струю. И только ручейника снесло к обрыву — поплавок плавно и сильно потянуло вниз. Так берет только язь. Его поклевка. Отчего-то мне сразу стало жарко. «Вот оно». Теперь важно и не поторопиться — и не опоздать. Привычным движением руки я коротко подсек и сразу же почувствовал, что рыба на крючке, тяжелая, живая. Осторожно, не дергая, но и не ослабляя лески, я стал выводить язя. Куда там! Забунтовал, забился, заполоскался. Рыболовы перестали следить за своими поплавками, все внимание — на мой поединок с язем.

Посыпались советы:

— Не поднимай!.. Перехватывай леску и леской выводи!..

Теперь я видел его всего: ком серебра! Тупорылая голова, косо посаженные глаза, хвостом бьет, точно веслом. Как сражается! Вот потянул вглубь, потом в одну сторону, потом в другую, а я терпеливо сдерживал его и мало-помалу подавал на себя, спиной отступая на берег. Медленно, медленно...

В какой-то момент мне удалось чуть приподнять язя над водой, он хватил воздуха и сразу сник; все так же медленно, без рывков, я вывел его на мель, и тут же рука коснулась литой рыбины.

«Вот это удача!» Я вынул крючок, а язь, даже на берегу, хлопал жаберными полукружьями, стегался хвостом. Круглый глаз излучал ярость.

Я любовался язем: серебряные чешуйки отливают синевой, плавники малиновые, да и вес хорош, чувствует рука вес. И с одной такой рыбиной можно считать рыбалку удачной.

Я опустил язя в капроновую сетку, сложил ее ручки и верх садка придавил камнем. Пойманный язь был весь в воде, но лежал смирно, устало и, часто двигая жаберными полукружьями, открывал и закрывал рот.

Тут, как водится, нашлись желающие поглядеть на рыбину. Двое городских мальчишек. Один смуглый, крепыш, другой белесый, в очках.

— Дядь, как эта рыбина называется?

— Язь, ребятки, язь.

— Язь. Покажите, пожалуйста, язя. Мы еще никогда его не видели.

Белесый, в очках, парнишка присел на корточки, я не успел сказать ни да ни нет, он чуть приподнял камень, сетка выпрямилась, и в то же мгновение серебряная молния выметнулась из желтой капроновой сетки, пролетела мимо моего резинового сапога и скрылась в глубине омута.

— Упустил! Эх ты, растяпа! Такого язя упустил! —

взвыл дружок белесого. — Ну, очкарик! Дать бы сейчас тебе!

Я глянул на пустую сетку и почувствовал усталость в руках.

— Да, красив был язь... Очень красив. Ну да что же теперь делать, — сказал я, понимая, что никаким тут разговором язя в сетку не вернуть.

— Я... Я... — мальчишка снял очки и беспомощно заморгал белыми ресницами. — Я виноват.

— Ладно. Упустили мы его куда? В речку. Стало быть, в родную стихию. А это для язя, ребятки, неплохо. Очень даже неплохо. Там он не пропадет. Ты как думаешь? — спросил я виновника.

Он молча кивнул головой.

СУХАЯ УДОЧКА

Нынешней весной в речке Покше была малая вода — снегу зима выдала не густо, рыбы из Волги зашло почти ничего. Все рыболовы жаловались на неудачи... И вот уж летом совсем случайно залетела к нам верхоплавка, половить ее — желанная мечта. Но вот какую наживку предложить ей, чтобы клевала азартно, — задача. Ручейник перевелся, на муравья — грех: на друга леса — и поднимать руку?!

Давно знакомый мне рыболов из Куликова, Саня, известный и на Покше и на Волге знанием рыбьих повадок и заветных местечек (ни у кого не клюет, у него же, что ни заброс, берет; так потаскивает, что загляденье; и хотя почти по локоть обрублена правая рука — управляется мужик, отработан каждый прием), присоветовал: «Ломтик булочки размочи, замни в мучице и в мякиш добавь чуточку речного песочку — это верхоплавке понравится. Вспомнишь меня».

Все было выполнено в точности. Получился тугой, плотный шарик, который я завернул в бумажку и сунул в карман.

Я за калитку — и Лили за мной. Лили — белый, с черным левым ушком и коричневыми пятнами по спине и боку щенок. Щенку страшно захотелось побывать на речке. Я не брал его, гнал, прекрасно понимая, что удочка на реке и щенок — несовместимы. Обязательно будет соваться, запутает леску, а то примется скулить — и какая уж там будет рыбалка. Но Лили не отступилась. Как только я ушел, отыскала щелку в ограде и догнала меня на Нелидовском угоре. Ткнулась в ноги, ласково завилала хвостом, кончик которого загнут крючком, а черные глазенки в смешных белых ресничках маслянисто посверкивали от радости: «Хотел меня оставить, а я — вот я».

— Пошли, — вздохнул я. — Будь что будет.

К моему удивлению, щенок вел себя безукоризненно: храбро сунулся за мной на узкую тропу, обложенную с обеих сторон крапивой, перебрел ручей, нырял под кусты ольховника, пробирался по болотцу, выкупался в луговой росе, не испугался гудящего шмеля. И мы благополучно пришли к заветному местечку: речка неслась по каменистому мелководью, взбивала белую пенку и влетала в просторный бочажок, там и здесь прошитый зелеными стрелами куги. Была верхоплавка. Точно сказали: шумно всплескивалась, резвилась поверху.

В отрадном ознобе я размотал леску и положил бамбуковый удильник вдоль берега, к своим ногам, стал доставать наживку полухлеб-полутесто, выполненную по рецепту знаменитого Сани, отщипнул самую малость и скатал горошину. И только бы мне нагнуться к удильнику — как его задергало, ни дать ни взять крупная рыба. Глянул, а это Лили, зажав в зубах бело-синий поплавок, тянет его, желая сорвать.

— Лили, нельзя! Лили, брось! Кому говорю: сейчас же брось поплавок... — Я положил наживку на траву и решительно шагнул к щенку. — Ну, дай мне поплавок... Дай... ведь ты же умница, Лили! Не грызи поплавок, ведь это же не кость! Или ты ничего не понимаешь, глупая собачонка. Стой! Стой, куда же ты? Ах, ослушница. Боль-

ше на рыбалку с собой не возьму ни разу. Ни ра-зу-у! Слышишь? Поняла?.. Вот теперь умница.

Щенок наконец выпустил поплавок, правда, слегка помятый, но еще пригодный, зато леска-а... Леска так жутко была перепутана, что впору делать новую снасть. Я оборвал старую трехцветную японскую леску, сняв поплавок, грузило и крючок, вышел на берег, уселся возле тропы и принялся за дело. Полчаса, если не больше, потребовалось, чтобы привести удочку в рабочий вид. А Лили? Лили словно понимала, что виновата, не подходила ко мне, была чем-то занята у воды, а затем легла в тень лозняка, высунув розовый язык.

Я вернулся на место, готовясь сделать первый заброс... Вот только наживку насажу. Ах, до чего славна верхоплавка! Ни с сорогой, ни с язем не сравню. Нежна, масляниста. И жареная хороша, пальчики оближешь, а уж вяленая — бесподобна! Аромат, вкус...

«Начинаю...» Глянул, а наживки нет. Бумажка есть... Бумажка развернута, а наживка исчезла. Я припал на колени, расчесываю траву, заглядываю в воду, обшариваю карманы, заглянул даже в рыбацкую сумку, хотя точно знал, что туда наживку не клал. Пусто. Пусто.

Мои нервно-торопливые движения и бормотание себе под нос шибко заинтересовали щенка, он подбежал и тоже стал соваться под руки, под ноги, всем своим видом показывая, что он тоже ищет...

Ищет? Тут меня осенило:

— Лили, где наживка?.. Тебя спрашиваю: где-е нажив-ка-а? — я сунул бумажку, в которой была завернута наживка, к носу щенка. Лили понюхала ее и облизалась. — Ну вот, все ясно: ты съела наживку. Съела! — Собачка виновато поджала хвост и отбежала к лозняку.

— Вот так: вместо того чтобы наловить рыбы, мы пойдем домой, а удочка у нас как была, так и осталась сухой. Поняла?.. Эх, хе-хе...

А июльский солнечный денек меж тем набирал силу, молодецки разгуливался. Речка Покша плескалась еще ласковей.

На ближних плесах речки Покши этот омут, поросший по берегам кугой, камышом и осокой, пожалуй, самый крупный. По форме он похож на кувшин, только у этого речного кувшина как бы два горлышка: в одно вливается река, в другое выливается. Потому омут и назван так — Воронка.

Как только солнце пойдет на убыль, в омуте начинаются рыбки переплески. Иной раз так ударит голавль, вздрогнешь. Проследишь за кругами, покачаешь головой обрадованно: «Есть рыбка. Есть!» — и скорее разматывать удочки.

Я занял песочную подковку полуострова, когда вечернее солнышко ворочалось в сосновых и еловых ветках, как огромная рыбина в сети. Солнце цедило зеленоватый свет, утратив сразу и свой напор, и блеск. Но вот оно вырвалось из правобережных лесов и нырнуло за гребень травяного увала. И в тот же миг я закинул первую удочку.

Было тихо. Слева к берегу подступал лес, обрезанный дорогой. Пахло разогретой хвоей, доцветавшим болиголовом; там, где воронка суживалась, в траве поплескивали дикие утята, и, когда они особенно шумно расходились, мать-утка остерегала их: «Крря... крря...» За рекой, напротив меня, была выкошенная луговина. От копешек наносило тонкий запах увядающей травы.

Я ловил на живца. Из ведерочка вытаскивал гольяна, маленькую, темно-коричневую по спинке и светлую по брюшку, рыбку, под жабры вводил крючок и плавно посылал в реку. Невредимый гольян обманывался свободой и начинал бегать кругами, так как в воде его держало грузило, а над водой поплавок.

Что говорить, приманка была видная, живая, желанная, и ее друг у друга оспаривали крупные окуни. Хватили с ходу, топили поплавок, мне оставалось только подсечь и выкинуть на островок матерого окуня... Наверное,

уже штук шесть окуней плескался в моей сумке от противогаса.

Повыловил окуневую стаю и — как отрубил. И полчаса нет поклевки, и час. Выбивались из сил, застывали на крючке живцы. Нужно было менять место. Смотал три удочки, а самую большую и надежную, с трехцветной японской леской, со свежим живцом, оставил на островке дежурить. Возьмет окунь взаглот — не сорвется. А сдернет с крючка живца — его удача.

В одной руке нес ведрышко с живцами и сумку с уловом, в другой удочки и спиннинг. Когда я ловлю на живца, всегда захватываю с собой спиннинг — вдруг пригодится.

После Воронки порыбачил в трех омутах, в каждом взял по окуню. Много времени было потрачено впустую, на переходы, на подготовку снастей, да вдобавок нечаянно, когда выводил последнего окуня, сапогом поддал по ведерку и выпустил живцов, поэтому, досадуя на себя, брел на Воронку за дежурной удочкой.

Еще было светло, над угревшейся за день рекой зыбко колыбался парок. Где-то у Нелидовского ключа, в ивняках, принялась нежно, в тонкую дудочку, высвистывать иволга. Резиновые с раструбом сапоги до колен заблестели от росы. На увал, в деревню, поднималось стадо, хлопал кнутом пастух, лаяли собаки.

Еще на подходе я не увидел белого, из пенопласта, поплавок, с грушку величиной и формой похожего на грушку. Прибавил шаг: утопленный поплавок — славный признак, значит, если не оборван, что-то сидит. А когда увидел, как задергался, заподкидывался над водою удильник, побежал.

Все дальнейшее происходило в страшной спешке и волнении. Мой белый поплавок дергался в воде. Я, не мешкая, схватил удильник и подсек и тут же почувствовал ответный рывок. «Рыбина, и крупная», — это еще пуще распалило меня. Попробовал подать рыбину на себя, она не только не уступила силе, но ринулась в сторону, к кусту травы, так и откинулась моя рука с удильником

влево. Тут я увидел, кто сидел на окуновом крючке — щука, такая грозная и светлая, с горбинкой, коса. Ох, какая осторожность нужна с нею, щукою-косою!..

Теперь вся надежда на леску да на свой рыбацкий опыт. «Спокойней, спокойней, — повторял я, — ты же ловил щук на спиннинг и покрупнее... Главное — держать щуку в напряжении, не позволить леске ослабнуть... Ладно. Давай!»

И я повел угибавшийся ореховый удильник вправо, щука упиралась; все рвалась влево, к кусту травы, она понимала, что там ее спасение, но я неумолимо вел и вел ее на себя, пятился, рыл сапогами песок островка. И леска и крючок пока держали.

Еще немножечко... Еще... Вот она, совсем рядышком, нагнешься и возьмешь. И впрямь коса, высветленная о луговые травы, грозная, острая; пасть открыта, рубится хвостом.

Мне бы перехватить леску, бросить удильник и, сокращая в руках натянутую до звона леску, зайти в воду, берег пологий, и взять щуку... Такой прекрасный расчет сложился в голове после события. А тогда... А тогда я с берега резко дернул удильник и тяжело приподнял щуку до хвостового плавника, и она рванулась — дерзко, сильно, отчаянно, как будто поняв, что это последний для нее момент и его нельзя упустить.

Был всплеск. Был вскрик. И вот у меня в руках остался (каким легким сразу стал он!) удильник, а щука с крючком в пасти, с грузилом, леской и поплавком ловительно и красиво пересекала омут. Я видел, как мигал на прощанье поплавок, он-то и показывал направление щучьего пути.

Броситься в речку — вот какой была первая мысль. Я отшвырнул удильник. Но — сапоги с ботфортами, и эти лыжные брюки, и эта лыжная куртка?! А пока разденешься, где она будет, щука-коса, щука-молния?.. Тут поплавок остановился, вынырнул. Покачивался, словно спрашивал меня: «Что же ты медлишь? Действовать нужно, растяпа». Я понял: щука остановилась. Видно, и

ей нелегко далась эта борьба, коль потребовалась передышка. Или, может, зацепила леску за траву?!

«Спиннинг! Скорее хватай спиннинг!» — приказал я себе. И вот уже блесна со свистом полетела в реку. Далеко. Перекинул. С головы свалилась шляпа, в переносье всадил шило комар — наплевать, некогда. Бросок. Почти рядом с поплавком прошла блесна. Но и щука забеспокоилась. Третий бросок. Кажись, так. Кажись, в цель. Я дал блесне утонуть и повел. Крючок-тройник зацепил леску. Тяжело. Щука забилась. Я потащил ее спиннингом, приказывая себе: «Плавно, без рывков». Но тут щука шумно выкинулась из воды, я увидел молниевый взмах косы, и скрылась, и понеслась поперек водоема. И в тот же миг я сначала почувствовал, а потом увидел и понял, что поплавок, зацепленный крючками блесны, плавно скользит по леске, поехал, поехал, поехал снизу вверх. Все вверх, вверх... Вот бы узелок был на леске! Нет! Поплавок с разгону скользнул с трехцветной японской лески.

В тот раз до меня и дошло наставление друга дяди Кости, который всегда на леске оставлял сверху узелок, приговаривая: «Может пригодиться». А я упорствовал, не хотел вязать узелок. И за упорство свое был наказан — щукой.

КОРЯЖОНОК

Это я прозвал его Коряжонком. На речке Покше есть у меня заветное и тайное (никому не открываю) местечко: ивовый куст, добрым чубом нависший над водой, а под ним коряга, в солнечный день видимая, а в пасмурный нет.

Коряга серо-желтая, рогастая, у берега прикрыта травой. Не легко тут ловить. Прозевал — и течением подбьет удочку к коряге, а как подбьет, считай, что остался без крючка, — зацеп. За три лета я привык и знал, где

была дозволенная для ловли граница: как доходит поплавок до нее, так и перекидываю.

У коряги славно брали окуни. Случалось и голавлика обмануть. Но местечко это я берег и приходил сюда, когда нигде не клевало.

Вот тут и жил-поживал Коряжонок — окунь в полосатой матросской рубашке, с красными, как огонь, плавниками и со светлой точкой пониже спинного плавника. Прихожу, он тут, пошевеливает веслом хвоста, жабрами поводит.

— Привет, Коряжонок, — говорил я, и другие окуни уходили испуганно вглубь, под корягу, в тень, а этот презрительно пускал пузыри ртом.

Всем своим видом он показывал, что не считает меня настоящим рыболовом. Почему? Да очень просто: захочет обмануть — и обманет.

Уже все лотковские ребята знали: если я у крыльца своего дома примериваю к удилищу новую леску, значит, оборвал ее Коряжонок. И все мои замыслы он, бестия, расстраивал хитрецами.

Коряжонок, не в пример своим братьям, никогда не трогал крючок, когда я насаживал на него полчервяка. А при целом червяке вот какой ловкий прием применял он, унаследованный им, видимо, от окуней-дедов, тех, что мы, люди, называем уважительно лапотниками: он со всей предосторожностью, не как другие, подходил к червяку и, прицелившись, быстро и жадно трогал его губами. Поплавок при этом почти не давал никакого сигнала: чуть дрогнет, и все. Рыбаку этого мало, будет ждать. Тогда Коряжонок зажимал жесткими губами самый кончик червя и дерзко рвал его вниз. Поплавок шел на утоп. Ликуя, я дергал удочку — на крючке висел оборванный червяк.

— Тонкая работка! — не скрывал я своего восхищения и видел, как довольный Коряжонок, сделав круг у коряги, ждет от меня еще дармовой подачки.

Самое большее, чего я мог добиться, — это поднять

умного окуня над водой: червяк был тугой, не сдерживался, и Коряжонок для развлечения не отпускал его, а затем выплевывал и бодро плюхался в речку. Круги шли по воде, а он, посмеиваясь надо мной, начинал прогуливаться взад-вперед: дескать, не думай, что ты мне причинил неприятность, это я сам захотел поиграть и поиграл...

Были у Коряжонка и еще обманные приемы. Ну вот такой хотя бы. Так же осторожно трогал он губами кончик червяка, так же прилаживался, потом с другим заходом брал его — и стрелой под корягу. Я дергал. Крючок вместо упругой окуневой пасти вонзался в корягу. Рывок, другой, и леска обрывалась. В просвеченной июньским солнышком воде я видел, как к моему застрявшему крючку подруливал, повиливая веслом-хвостом, Коряжонок и по кусочку сдирал червя.

Я менял (что оставалось делать?) крючки, лески, удилища. Все напрасно! Коряжонок вновь и вновь торжествовал победу. И рос. Теперь он превратился в порядочно-го окуня... Иногда он мне снился, но даже во сне не я его, а он меня проводил.

И бывало так: не выдержишь и концом удилища пырнешь в него: «Я вот тебе, наглец, проколю полосатый бок!» Коряжонок обижался и уходил на быстринку. Пристыженный, я ложился на траву и лежал не шевелясь. Мне было радостно, что Коряжонок ушел, что, выждав момент, спокойно половлю, но вместе с радостью шевелилось другое чувство — хотелось еще и еще видеть окаянного окуня.

Рассказывая о Коряжонке, я не раз ловил себя на мысли, что горжусь им, что, не будь его в речке, моя самая удачная рыбалка была бы обычной рыбалкой.

В ольховых зарослях ликовали соловьи, речка вишне-вела от зорьки, и было тихо-тихо. И до чего же сладко снимать с крючков поворот за поворотом леску, переводить на нужную глубину с нежным скрипом поплавок и при этом думать: «Сегодня возьму настоящую рыбину... А может, и самого Коряжонка...»

У каждого рыбака есть своя любимая удочка. И у меня тоже — бамбуковая, легкая, гибкая. Такую в руке держать одно удовольствие, прицельно кинешь на любое место.

Обманы Коряжонка сделали свое дело — я все чаще стал подумывать, а не завести ли мне новую удочку. Какую-нибудь особенную. И вот, шастая с Сергунькой Березинным по лесу в поисках грибов-кокосовиков, приглядел березовый удильник. Тонкий и длинный-длинный. На половину снял кору, дал вылежаться на солнышке. Ухватистый удильник вышел.

Как обычно, у крыльца я стал ладить новую удочку. Подсоблял мне Сергунька: плющил на выпуклом железном круге, вкопанном еще старыми хозяевами, свинец на грузильце, подбирал небольшой надежный крючок.

— Как назовете, Михаил Петрович, свою удочку новую? — сидя на корточках, спросил Сергунька.

— Хитрой.

— А почему же хитрой?

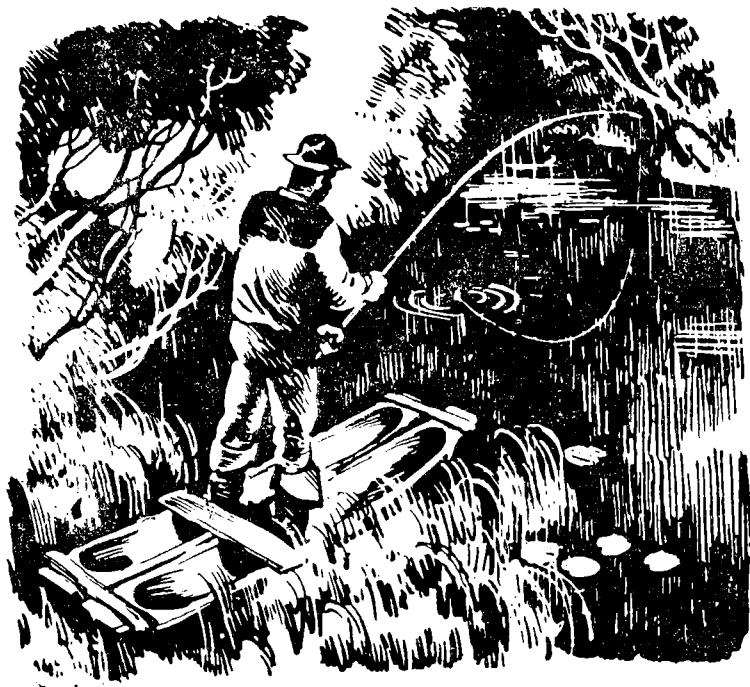
— Гм... Потому, что теперь поймаю любую рыбу в нашей Покше.

Тут Сергунька усомнился:

— И Коряжонка?

— Может быть... Может быть. — Но я вспомнил, что настоящий рыболов не должен говорить об этом вслух, и поправился: — Там, Сергунька, поглядим.

Еще никогда не доводилось мне ловить так — на хитрую удочку. Это был способ, изобретенный мною. Я отвязывал старый, долбленный из двух осиновых деревьев и скрепленный перекладами по концам челн, по-местному коротень, и плыл на нем. Недалече от своей коряги заводил коротень в заросли кувшинок и лилий и принимался удить. На две удочки. Босиком стоя в коротне, я закидывал сперва хитрую удочку и, когда поплавок ложился там, где мне было нужно, укреплял конец удилица в скобе кормы. Затем проворно закидывал легкую бамбуковую удочку и легонько принимался покачивать коротень. Хитрая удочка все время дергалась, поплавок



пританцовывал, а червяк в глубине так азартно бесновался, что рыба не могла пройти мимо, не могла не удивиться резвости приманки, не могла преодолеть соблазна отведать ее. Врали окуни. Взаглот. И, несмотря на то что я не успевал вовремя подсекать их, они не срывались. В обоих отсеках была вода, и я кидал окуней то в один, то в другой.

На бамбуковую удочку не ловилось. Вот и еще поклевка на хитрой — поплавок стремительно пошел на утоп. Я спешно выдернул удилище из скобы и потянул леску. Рыбина метнулась вглубь, рванулась раз, два, и вдруг леска ослабла — неужели оборвала? Я осторожно потянул леску на себя, и руке передался короткий, но сильный толчок: «Здесь!» Теперь рыбина поняла: скрываться нечего, и разбежисто выплеснулась на поверхность. Здоровый окунище! Он тут же метнулся под листья лилий.

Одного этого мгновения было достаточно, чтобы я признал в окуне своего старого врага Коряжонка. Попался-я! Сердце зашлось от радости.

Коряжонок бурлил воду, боролся. И я угадал его маневр: хочет запутать леску в лиловых шнурах лилий, чтобы я потянул и оборвал ее, и тогда он и на этот раз, с крючком в пасти, но уйдет. Уйдет! Что он вытворял: то вскидывался над водой, то опять уходил вглубь, то юлой крутился на месте... И запутал-таки леску. Начни я дергать, так бы и было, как он рассчитал. Но не было вблизи родной коряжины, и совсем не учел окунище, что я был не на берегу, а в коротне. Со всеми предосторожностями я уперся веслом в дно, чуть подал коротень влево, к месту боя, и, опустив удище на воду, дотянулся рукой к леске, обвинившей лиловый шнур лилии... Коряжонок провел по моей ладони наждачной твердости чешуей, изогнулся, сгорбился, выставил все свои иглы спинного плавника, и я успел уцепить его за жабры другой рукой и, любуясь им, вынул у него из пасти крючок.

Было сделано главное. Конец рыбалки меня уже не интересовал, хотя вслед за Коряжонком я взял еще трех окуней и с добрую рукавичку сорожку. А в коротне ярился, обдавая меня брызгами, Коряжонок. Раньше я любовался им на расстоянии, но каким же красивым был он сейчас!..

Обычно я складывал улов в мешочек из полиэтиленовой пленки, предварительно наполнив его речной водой, и нес к Займовскому ключу. Он ручейком сбегал в Покшу. Ключ отвесно падал из желоба и за долгие годы вырыл ямку. Ямка была отгорожена доской — тут мыли потрошеную рыбу, и от ледяной воды она твердела.

Всю свою добычу — полтора десятка окуней с заветным Коряжонком и сорожку — я выпустил в ямку под струю ключа. Куда уйдет, если запруда? А сам нарвал широченных листьев папоротника и сел на них на склоне оврага. Надо мной была старая черемуха. Ягоды на ней налились и потемнели. Я был доволен: поймать такого хитреца, как Коряжонок! Не шутка!..

Ключ ворковал, и ворковал беззаботно.

А потом я достал острый нож и пошел к ямке. И... и... обомлел — Коряжонка не было. Что за чертовщина! Не улетел же он!.. Я оглядел запруду со стороны ключа и со стороны ручейка. Под замшелой доской была щель. В эту щель и ушел Коряжонка. Навсегда осталось для меня загадкой: сам выкопал этот лаз или и на этот раз улыбнулось счастье? Все окуни и сорожка здесь, а он улизнул...

Никогда я еще так не волновался, как в тот вечер, когда торопливо шагал на рыбалку, к ивняковому кусту с корягой. «Там он или нет?»

Я пригляделся и увидел знакомый корпус с темными полосами, огнистыми плавниками и светлой точкой пониже спинного плавника.

Я выбрал из банки самого большого червя и кинул ему,

Но окунь даже веслецом-хвостом не вильнул. Обиделся? Нет, всем своим видом он презирал меня, рыболова.

МАЛ, ДА УДАЛ

1

Подледная рыбалка... Река залита потоками щедрого вешнего солнца: там, где на льду озерки, полыхают зеркала, на которые больно глядеть.

То кучками, то вразброс здесь и там на своих «баянах» (фанерных ящиках) возле лунок дежурят рыболовы: короткий, иной всего с авторучку, удильник оканчивается нервным, чутким витком пружинки, которая тут же извещает даже о самой осторожной поклевке. Два-три движения руками — леска выбрана, и на льду бьется, подбрасываясь, переворачиваясь, либо красноперый окунек, либо светло-серебристая сорожка, либо широкая, с ладонь, густерка.

Но чаще других рыб ловца тревожит, обманывает и

сердит ерш; дерзко хватает наживку, клюет на отбой, а сам — кроха, с мизинец. Зато вооружен знатно! Распустит спинной плавник, взгорбится весь, выкинет иглы — щука пасует перед ним!

— Ну, братцы, пошел сам князь! — шутят рыболовы, и поначалу иные отпускают ерша восвояси. А он назойлив и неотступен. Лезет и лезет, опережая заветную рыбу. И тогда ерша охлаждают — выбрасывают на лед. Возле каждой лунки пяток-десяток ершей. Иные успокоились, иные бьются, то складывая, то распуская грозный спинной плавник, увы, бесполезный сейчас.

Рыболовы, если клев неважный, нудный, часто меняют места: ледорубами с хрустом врезаются в толстый лед, пробивают его насквозь, а ледяное крошево вычерпывают большой металлической ложкой с дырочками, и в лунку опускается снасть. На тонкой, с волосок, леске дробинка с впаянным в нее крохотным крючком, а на крючке ловко насажена наживка: это либо малиновый мотыль, приметный в воде, либо три-четыре белых, меньше рисового зернышка, репейника.

2

Рыболов у новой лунки весь в тревожном ожидании: мечтает о леще, щуке, судаке, крупной сороге.

Рыболовы кочуют по реке с плеса на плес, встречаясь, коротко обмениваются: «Ну, как там вверх?» — «А внизу как?»

...Солнце переместилось к высокому, местами лесистому, правому берегу. Время от времени лед под ногами вздрагивает, трещит в глубинах, стреляет наверху, да так, что изгибистая трещина пробегает от одного берега к другому, пугая новичков. Кажется, река за зиму натерпелась лиха и теперь, просыпаясь, потягивается до хруста, оживает, пробует силы. И такая она приманчивая сейчас.

А лед берегового припая местами вздыблен, с заломами. А там образуются пустоты, тайники.

На лед неожиданно выскочил зверек, белый-белый, нежно-снеговой, лишь кончик хвоста (зверек держал его торчком) был черным. Легкими, воздушными, длинными прыжками он стремительно приблизился к рыболову, который сидел на фанерном самодельном ящике, схватил ершика зубами, метнулся к берегу и скрылся в ледяном разломе.

Прошло мгновение, и гость снова пожаловал к нам.

— Горностай — вот это кто! Ай, ловок! — весело сказал тот же рыболов. — Ну, смелей, смелей! Подбирай рыбку, подбирай.

Тельце у горностая гибкое, длинное, а ножки короткие, однако куда как проворны, глаза — со шляпку сапожного гвоздика и черным-черны. С ходу схватил рыбку и в несколько прыжков отнес в свое убежище. Выскочил, оглянулся и опять был на льду. Действовал он привычно-умело, проявляя при этом и расторопность, и смелость.

— Горностайко, дружок, ершик-то мал, иди-ка сюда, получи от меня окунька. — Рыболов чуть приподнялся с самодельного фанерного ящика и кинул рыбку. — Зверек мал-мал, а вот умен. Это мой давний знакомый. Молодец! Ловко приспособился... Он тут не первый годок промышляет.

Горностай, к удивлению рыболова, только обнюхал дареного окуня, а унес опять-таки малого ершика.

— Вот и угоди на шельмеца-а, — смеялся рыболов.

Шустрый зверек еще раз пять-семь приходил, но добычу носил и прятал в разные места. В этом была своя хитрость: откроет недруг тайник — пропадет одна рыбка...

Умница горностай правильно рассчитал: рыболовы — народ великодушный, не обидят и в обиду не дадут, а без них на лед в открытую не сунешься: кругом вороны, ждут не дождутся конца рыбалки. Вот он при нас и запасался рыбкой.

Солнце ушло за гребень берегового откоса. Река как-то сразу опустела, на лед, на берега, на поречный луг легли голубые тени. Тени вечера.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3	Встреча на тропе	45
Ветерок с поля		Петухи	50
Ромашка	4	Купание коня	53
Шелковые уши	7	Пес по кличке	
Озорники	13	Шумок	57
Пастух и лисенок	15	Яблоня солдата	61
Утя	18	Картошка, печенная на	
Еще одна охота	20	костре	64
На кордоне	24	Подледный лов	67
В лесной деревеньке		Топленое молоко	70
Солнечный день	29	Банька	72
Ласточки	31	На реке	
Солдатский ремень	33	Малек	76
Катин куст	35	Серебряный язык	77
Привези раковину	36	Сухая удочка	80
Белые грибы	41	Узелок на леске	83
Поход на лосеферму	43	Коряжонок	86
		Мал, да удал	92

Василий Алексеевич Бочарников

В ЛЕСНОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ

Для детей младшего школьного возраста

Редактор Н. П. Большухина, Художник А.-Ю. А. Кузьмин. Художественный редактор Н. Н. Миролюбов, Технический редактор Т. Н. Яковлева, Корректор Т. В. Виноградова

ИБ № 1115

Сдано в набор 5.01.89. Подписано в печать 07.06.89. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. кр.-отт. 5,88. Усл. п. л. 5,04. Уч.-изд. л. 4,45. Тираж 150 000. Заказ 9. Цена 20 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Типография № 2 Госкомиздата РСФСР, 152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.